

МИТРОПОЛИТ
ВЕНИАМИН
(ФЕДЧЕНКОВ)



БОЖИИ ЛЮДИ







МИТРОПОЛИТ
ВЕНИАМИН
(ФЕДЧЕНКОВ)



БОЖИИ ЛЮДИ

МОСКВА
«СОВРЕМЕННИК»
1991

ББК 86.37
В29

Составление, подготовка текста
и вступительная статья *Алексея Светозарского*

Вениамин, митрополит (Федченков)

В29 Божии люди /Сост., подгот. текста и вступ. ст. А. Светозарского. — М.: Современник, 1991. — 110 с.

ISBN 5-270-01462-9

В сборник митрополита Вениамина (1880—1961) вошли рассказы о праведниках Русской земли — святых старцах Оптиной и Зосимовой пустынь, о епископах, приходских священниках, мирянах, чьими молитвами и подвигами сохраняется духовное богатство России, чьи заветы всегда будут светить миру.

Текст печатается по авторской рукописи, хранящейся в Псково-Печерском монастыре.

В $\frac{4702010201-148}{М106(03)-91}$ 82-92

ББК 86.37

ISBN 5-270-01462-9

СЛОВО О СВЯТОЙ РУСИ

Автор настоящих записок, предлагаемых ныне вниманию читателей, прожил долгую жизнь, исполненную труда, молитвы, крепкого стояния среди бурных волн житейского моря, особенно бурных в тот мятежный, смутный, окрашенный кровью невинных жертв и омраченный братоубийством период, который мы зовем сегодня рубежом эпох, «предреволюционным и революционным» временем.

Имя автора воспоминаний — Вениамин, это имя монашеское, данное при постриге. В миру же — Иван Афанасьевич Федченков, крестьянский сын, монах, богослов, удостоенный сана святителя, сана, неизменно со времен апостольских существующего в Церкви и венчающего ее земную иерархию... И то, что жизнь его прожита в Церкви, влечет сегодня к себе непредубежденного читателя. Ведь всем нам, ушедшим «на стра́ну дале́че» и пытающимся вернуться в дом Отца, важно знать, как жили в этом доме наши предшественники.

Внешние события жизни владыки Вениамина также не могут не заинтересовать человека, увлеченного русской историей. Будущий архипастырь Русской Православной Церкви родился 15(2) сентября 1880 года в Кирсановском уезде Тамбовской губернии. Отец его — Афанасий Иванович Федченков — происходил из крепостных крестьян Смоленской губернии, он был дворовым человеком господ Баратынских, тех самых, давших России знаменитого поэта. Мальчиком 13—14 лет Афанасий был послан помещиком в тамбовское имение и определен на должность конторщика. Мать — Наталия Николаевна — происходила из «духовных», была дочерью диакона и в девичестве носила фамилию Оржевская.

Учился Ваня Федченков, как это повелось исстари, по Псалтири, потом была земская школа и год учебы в уездном училище. И наконец, курс обучения в училище духовном, в губернском городе Тамбове. В 1903 году Иван Федченков окончил в том же Тамбове духовную семинарию и отправился в Санкт-Петербург в столичную духовную акаде-

мию. Будучи студентом последнего курса, в 1907 году принял монашество.

После окончания академии, в 1907—1908 годах, он — профессорский стипендиат на кафедре Библейской истории, а в 1909—1911-м иеромонах Вениамин — личный секретарь архиепископа Финляндского и Выборского Сергия (Страгородского) — будущего патриарха.

С 1911 по 1917 год о. Вениамин занимается научной и административно-педагогической деятельностью. Он возведен в сан архимандрита и занимает поочередно должность ректора в Таврической (с 1911 по 1913) и в Тверской (с 1913 по 1917) духовных семинариях. В Твери встретил архимандрит Вениамин события февраля 1917 года... От младших клириков Тверской епархии он был избран членом Поместного Собора Православной Российской Церкви, проходившего в Москве в 1917—1918 годах. Был свидетелем восстановления патриаршества и интронизации (или, как говорили в старину, «настолования») св. патриарха Тихона; принимал деятельное участие в работе Собора.

Затем был членом Украинского Церковного Собора, заседавшего в Киеве, где вместе с другими клириками, а также иерархами и мирянами отстаивал единство Церкви и противостоял усилиям центробежных сил, устремленных к расколу.

В феврале 1919 года архимандрит Вениамин был хиротонисан во епископа Севастопольского — викария Таврической епархии.

После эвакуации белых из Новороссийска в Крым епископ Вениамин примкнул к белому движению. Войдя в состав Временного Высшего Церковного Управления епархий Юго-Востока России, епископ Вениамин стал представителем ВВЦУ при Совете министров, действовавшем при главнокомандующем — бароне П. Н. Врангеле. Это был год тысяча девятьсот двадцатый: белое движение клонилось к своему закату. Владыка Вениамин дал согласие быть «епископом армии и флота» — главой военного духовенства Русской Армии (так стали называться при Врангеле Вооруженные силы Юга России).

В ноябре 1920 года начался исход армии и населения из Крыма, потоком влившийся в лавину общерусского Исхода. Началась трагедия изгнанничества для миллионов (один, два, три — никто теперь уже точно не скажет) русских беженцев. Епископ армии и флота разделил судьбу своей одетой в военные шинели паствы: он посещает войска, расположившиеся в Галлиполи и на о. Лемнос, обращается к армии с посланиями...

По инициативе епископа Вениамина оказавшиеся в Турции иерархи сумели организовать в Константинополе Временное Высшее Русское Церковное Управление за границей, формально действовавшее под эгидой вселенского патриарха. Потом управление перебралось в Сербию, найдя приют в летней резиденции Сербского патриарха Димитрия в Сремских Карловцах; и владыка Вениамин принимал активное участие в

подготовке Всезарубежного Церковного Собора, играя в этом деле едва ли не ведущую роль. Когда же решением патриарха Тихона заграничное ВВЦУ было упразднено, епископ Вениамин стал отдаляться от политиканствующих карловчан и поселился в сербском монастыре Петковице, где собрал до 30 человек русской братии. А в 1922—1923 годах он — вновь викарный архиерей. Управление православными приходами в Карпатской Руси ему поручил архиепископ Пражский и всея Чехословакии Савватий (Брабец). Деятельность владыки Вениамина — русского архиерея, окормлявшего православных «русинов», была прервана по решению чехословацких властей, и он вынужден был вернуться в Сербию. Имея пребывание в Петковице, епископ Вениамин является законоучителем двух кадетских корпусов: Русского и Донского им. генерала Каледина, настоятелем Русской церкви, а также возглавляет пастырско-богословские курсы.

В 1925—1927 и 1929—1931 годах преподает в Парижском Православном Богословском институте во имя преп. Сергия Радонежского, созданном по инициативе управлявшего православными приходами в Западной Европе митрополита Евлогия (Георгиевского). По свидетельствам современников, владыке Вениамину институт во многом обязан был своим почти монастырским укладом жизни и здоровой духовно-нравственной атмосферой.

В 1930 году произошел разрыв между митрополитом Евлогием и Московской Патриархией. Верный митрополиту Сергию, епископ Вениамин вынужден был навсегда покинуть аудитории института, оставить служение в институтском храме преп. Сергия. Вместе с двумя своими бывшими студентами иеромонахами Феодором (Текучевым) и Стефаном (Светозаровым) он основал первый приход Московской Патриархии в Париже — Трехсвятительское подворье.

С 1933 года владыка Вениамин, возведенный к тому времени в сан архиепископа, несет послушание в Америке. Он — временный экзарх Московской Патриархии в Северной Америке. Здесь застают его события Великой Отечественной войны. Когда Германия напала на Советский Союз, митрополит Алеутский и Северо-Американский Вениамин, обращаясь к соотечественникам и ко всем народам, ведущим борьбу с фашизмом, особо подчеркнул важность происходящих на востоке Европы событий: «От судьбы России зависят судьбы всего мира!»

Ни пространство, отделяющее владыку Вениамина и его паству от России, ни идеологические барьеры, ни козни недоброхотов не смогли удержать горячий порыв сердец, объединивший русских патриотов на чужбине. По благословению бывшего епископа Белой Армии шла конкретная, действенная помощь воинам Красной Армии, вставшим на пути германских полчищ: грузится на пароходы оборудование для госпиталей, переводятся скромные сбережения эмигрантов, за каждым богослужением возносится молитва Богу о даровании победы русскому оружию..

Зимой 1945-го, после двадцати пяти лет разлуки, митрополит Вениамин побывал в России. Он был членом Поместного Собора Русской Православной Церкви, избравшего патриархом митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия (Симанского) — верного сотрудника скончавшегося в 1944 году патриарха Сергия; архипастыря, прошедшего со своей паствой сквозь ужас блокады и не оставившего даже под угрозой смерти свое словесное стадо...

А вскоре, в 1947 году, владыка Вениамин окончательно вернулся в Россию. Ему было вверено управление Рижской и Латвийской епархией. Потом — служение в Ростове-на-Дону (1951—1955). Последним местом его архиерейского служения была Саратовская епархия, которую владыка занял в 1955 году, а в 1958 митрополит Саратовский и Вольский Вениамин (Федченков) согласно его прошению был уволен на покой и переведен на жительство в Псково-Печерский монастырь. 4 октября 1961 года, в день св. Димитрия Ростовского, владыка скончался. Тело его было погребено в знаменитых пещерах обители...

Владыка Вениамин оставил большое наследие: труды по богословию, проповеди, автобиографические записки... В значительной части его произведения до сих пор не опубликованы.

Замечательная, увлекательная, написанная настоящим русским языком книга воспоминаний «На рубеже эпох» рассказывает о событиях нашей истории, свидетелем и участником которых довелось быть владыке Вениамину; о людях, с которыми он встречался на своем жизненном пути. Даже если мы просто назовем лишь некоторые имена, то уже один этот перечень вызовет неподдельный интерес: митрополит (впоследствии патриарх) Сергий (Страгородский), епископ Феофан (Быстров) — царский духовник, последний император Николай II и его супруга императрица Александра Федоровна, митрополит Антоний (Храповицкий), Г. Е. Распутин, А. Ф. Керенский, барон П. Н. Врангель и многие, многие другие... По ходу повествования мы то оказываемся в атмосфере патриархальной крестьянской семьи, то переносимся в аудитории Санкт-Петербургской Духовной Академии, взбудораженной революционными событиями 1905 года. На наших глазах совершается жестокая и бессмысленная расправа над тверским вице-губернатором в дни «бескровной» февральской революции 1917 года; захват Кремля юнкерами во время октябрьских боев в Москве... Вместе с автором мы присутствуем на заседаниях Поместного Собора, восстановившего в Русской Церкви патриаршество и избравшего посредством жребия на престол московских патриархов святителя Тихона. Одна за другой меняются картины: объятая пламенем гражданской войны Россия; переполненная камера в севастопольской «чрезвычайке»; Крым — последняя надежда белого движения. Смешанное чувство боли, гордости и жалости охватывает нас, когда владыка Вениамин приводит нас к маленькому костерку, разложенному на гребне Перекопского вала: перед самым закатом белого

дела в России, может быть, на пороге собственной гибели «русские мальчики» — «вечерние жертвы» за грехи отцов исповедуют свою веру сражающихся «за Бога и Родину»...

Предстает перед нами и жизнь наших соотечественников в изгнании; проходят перед мысленным взором страны и народы, среди которых довелось служить владыке Вениамину...

Замечательная книга, написанная замечательным человеком!

Но есть у митрополита Вениамина сочинения, тоже созданные в жанре автобиографических записок, но несколько иные по своему характеру. Это книги, приоткрывающие нам внутренний сокровенный мир владыки, это — его духовная история жизни. В них — не столько рассказ о себе самом, хотя, как мы уже отмечали, автобиографический элемент присутствует, а скорее желание поделиться «сокровищем духовным, от мира собираемым» с другими, может быть, с будущими читателями, свидетельство очевидца, видевшего своими глазами то, о чем стоит рассказать, впечатления от встреч со святыми людьми, рассказ о людских судьбах (всегда интересовавших владыку как пастыря душ человеческих), о действиях Промысла на эти судьбы. Личность автора, его «я», смиренно отнесенное на второй план, лишь связывает отдельные части повествования, «привязывает» события и людей к определенному историческому времени, обстоятельствам или же вехам собственной судьбы. Виденное своими глазами и почерпнутое из книг, а также взятое из живого предания православного народа (видел Б., рассказывал А.) — все это органично и естественно воплощается в ткань повествования. Таковы «Записки епископа» (в другой редакции — «Записки архиерея»). Скорее всего (и есть основания утверждать это), митрополит Вениамин начал работать над своими записками в Америке, а затем продолжал свои труды после возвращения на Родину, заполняя собранный материал новыми впечатлениями от жизни в России, новыми фактами, новыми рассказами очевидцев... Можно предположить, что в основу его автобиографических произведений и трудов, близких по жанру к автобиографическим, был положен дневник (в самом широком смысле этого слова) или какие-то иные подобные записи. А уже затем, на базе этого богатейшего материала (собственные оригинальные заметки и воспоминания, выписки из книг, рассказы других людей) были составлены и «Записки архиерея», и книга «На рубеже эпох», и другие произведения. И потому по своему содержанию все они иногда «перекликаются».

В книге «Божии люди» собраны повествования о подвижниках, с которыми владыке Вениамину суждено было встречаться в основном лично; большая часть собранного в ней взята не с чужих слов. Тема «Божиих людей» у владыки Вениамина часто переплетена с темой «хороших людей» — тех, кто окружал его в повседневной жизни, кто излучал сердцем тепло и свет, согревающий озябшие души. «Святая» бабушка Надежда, мать Наталия Николаевна, «понедельничавшая» за де-

тей, давшая обет воздерживаться от скоромной пищи кроме положенных постных дней (среды и пятницы) еще и в понедельник; труженик отец, никогда не роптавший и не жаловавшийся на свою действительно нелегкую жизнь, сельский священник отец Василий — «в маленьком размере» отец Иоанн Кронштадтский, и многие другие — «большие» и «малые» — праведники. Но все они вместе Божии хорошие люди — принадлежат одной духовной реальности — Святой Руси, в пределах которой и происходит действие рассказов митрополита Вениамина о святых людях, которых ему довелось встречать в своей жизни. Святая Русь — вечный немеркнущий идеал народа, духовная, мыслимая страна со своими городами-монастырями, домами-кельями, со своими гражданами-праведниками. Ее будто бы и нет в реальном времени и пространстве, она никогда не существовала и, наверное, не может существовать в действительности. С действительностью «грешной» и «прелюбодейной» нелегко уживается святая мечта. И все же «не стоит село без праведника» и «без трех праведников несть граду стояния» — значит, все же она есть и живет, Святая Русь, как вечное стремление русского человека к горнему, надмирному, небесному... Настоящая книга владыки Вениамина и рассказывает о людях, чья жизнь прошла в этом едином святом порыве, чьи пламенеющие любовью сердца освещали путь другим, чье душевное тепло щедро передавалось ближним. И не становились они в красивые позы, не поучали высокомерно. Но их живая жизнь, прожитая ради Бога Живого, сама по себе, без лишних слов, убеждала и наставляла, а тихое слово утешало в скорбях.

Кажется, можно отчаиваться от того, что в ежедневной реальности нам трудно встретиться с этими высокими идеалами, а точнее, с теми, кто эти идеалы строго и просто воплощает в жизнь, идет, не мудрствуя лукаво, трудной дорогой самоотречения. Но на самом деле стоит лишь остановиться, замедлить ежедневный бег, отойти немного от житейской суеты — и вдруг словно свежий, теплый и ласковый ветерок обдувает тебя, и являются мир и покой в душе; и воздухом, который разлит вокруг, легко дышится... Это зовет нас Святая Русь... Этот зов будущий владыка ощущал с ранних лет и умел прислушиваться к нему.

Двухлетним мальчиком перенес Ваня Федченков тяжелую болезнь — воспаление легких. Мать дала обет: если ребенок поправится, идти с ним в Воронеж, к мощам св. Митрофана. Мальчик выздоровел, и мать, взяв его с собой, отправилась в паломничество. И когда она уже, стоя на коленях, молилась в монастырском храме, к ней подошел старец-схимник, взял мальчика на руки, благословил его и сказал:

— Мать! Это будет духовный светильник!

Сам владыка долгое время ничего не знал об этом случае, а мать ему не рассказывала, сберегая слово старца в своем сердце. И лишь по-

сле ее кончины сестра владыки поведала ему об этом чудесном знамении.

А когда он был студентом духовной академии и посетил вместе со своим приятелем Валаам, то в отдаленном Иоанно-Предтечевском скиту старец отец Никита долго беседовал с юношей и пророчески назвал его «владыкой».

Другой праведник, Божий человек иеромонах Гефсиманского скита Троице-Сергиевой Лавры о. Исидор также предсказал будущему митрополиту его жизненный путь.

«Придется быть монахом». Это решение Иван Федченков принял после долгих сомнений, но со смирением и в простоте своего верующего сердца. Так ответил будущий святитель на зов Святой Руси.

Во время обучения в академии молодой иеромонах Вениамин побывал и в Кронштадте. Свою встречу с великим молитвенником Земли Русской и сослужение ему во время Божественной литургии он запомнил на всю жизнь и навсегда сохранил об отце Иоанне благоговейную память.

Став архимандритом и ректором семинарии, отец Вениамин отправился в знаменитую Оптину пустынь. Ему, ученому монаху, хотелось увидеть повседневную жизнь знаменитой обители, стать причастным ее духу, ее особенной атмосфере, созданной старцами и привлекавшей в Оптину богомольцев со всей России. Мы, сегодняшние люди, воспитанные на приоритете культурных ценностей, увы, знаем больше о тех, кто приходил в Оптину. Их имена известны наперечет: Гоголь, Достоевский, Киреевские, Толстой, Апухтин, Леонтьев, Нилус... Но как мало мы знаем о тех, к кому приходили в Оптину за советом и утешением, кому приносили покаяние великие и знаменитые и незаметные «маленькие» люди, вместе составлявшие Россию. В записках митрополита Вениамина — рассказ об оптинских насельниках, и в центре повествования фигура одного из последних оптинских старцев — отца Нектария.

«Северный Афон» — Валаам, Оптина, Зосимова пустынь, сотни других обителей и тысячи храмов — всё это во времена владыки Вениамина сияло благолепием, согревало ухоженностью и благоустроением. Завершался «петербургский период» истории государства Российского и Русской Православной Церкви. Святая Русь жила, словно укрытая великолепным златокованым покровом, сохраняющим народную святыню от внешних посягательств. А под великолепными византийско пышными ризами билось живое сердце Православия.

Этот отрезок истории предстает перед нами в противоречивых и неоднозначных оценках современников и исследователей. С одной стороны, стомиллионный православный народ являет многообразные формы богопочитания и благочестия: грандиозные крестные ходы, массовые паломничества по святым местам, патриархальный, пронизанный церковностью уклад жизни, могучая государственность, основанная на христи-

анских принципах. А с другой — растущее безбожие, перекинувшееся уже из «высшего общества» в самую толщу народную и пустившее свои губительные метастазы по всему российскому телу; присущее всякому предгрозовому и смутному времени распространение ересей и лжеучений, нездорового болезненного мистицизма и хлыстовщины, «религиозного декаданса». И по-прежнему, как в «просвещенном» XVIII веке,— неусыпное бдение «ока государева» обер-прокурора Синода — за всеми внутренними делами Православной Христовой Церкви. Тяжел внешний благолепный покров: многие раны наносит он живому телу Церкви; неравен союз Церкви и государства. Но не оскудевает благодать, не упраздняется благодатный покров над взыскующей Христа Святой Русью. Церковь Российская, лишенная правильного, с точки зрения канонов, возглавления, подчиненная превозносимой государственной идее (по сути своей, увы, секулярной), являет стране, народу Божию, всей вселенной — великих подвижников, стяжавших благодать Святого Духа: святые Митрофан Воронежский и Питирим Тамбовский, Тихон Задонский и Игнатий Брянчанинов, Феофан-затворник Вышенский, преподобный Амвросий Оптинский, великие светильники — преподобный Серафим Саровский и святой праведный Иоанн Кронштадтский... И многие иные, ведомые миру и до времени (а может быть, и до конца времен) сокровенные подвижники.

Не стоит и село без праведника... Сколько сел на Руси? Сколько деревень? Сколько городков и городов? И повсюду — свои праведники. Вспомним об этом не для того, чтобы напитать гордыню, а для того, чтобы ободриться, ведь и мы — Русь — имеем на земле свое оправдание, своих молитвенников. Что было бы с нами, со всем народом нашим, с грядущими поколениями, если бы не было у России ее золотого сердца — Святой Руси, если бы не исходил оттуда тихий и кроткий глас. «Радость моя! Христос воскресе!» — так встречал приходивших на пороге своей убогой келейки преподобный Серафим.

«Твори благо, бегай злаго — спасен будеши», — завещал своим пасомым и всем нам святой Митрофан Воронежский.

«Жить — не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать. И всем — мое почтение!» — завет преподобного Амвросия Оптинского.

Зерно падало в землю, зерно умирало, зерно-слово приносило свой плод. Слово правды — не праздный глагол и втуне пропасть не может. Веруем, что слово это действовало и продолжает действовать и разгоняет тьму мира сего, как разгонял тьму свет лампад в кельях Божиих людей.

И когда пришел час испытаний, когда дерзкие руки сорвали покров, когда многие соблазнились от немногих и «восстали на Господа и Христа Его», Святая Русь не исчезла, не растворилась песчинками в поднявшейся буре, а явила мученичество и исповедничество, всепрощение и молитву за заблудших...

Рассказы владыки Вениамина о Божиих людях относятся как к дореволюционному периоду, так и ко времени, прошедшему после переворота, изменившего течение жизни в России. Но повествование продолжается! Значит, праведники жили и живут по-прежнему, среди нас. Это не ретроспекция, а повествование, имеющее свое продолжение в сегодняшнем дне. Несмотря на все беды и треволнения, преемственность традиции сохранена, Святая Русь не погибла... Читая книги владыки Вениамина, видишь, как волновал его этот вопрос. Наверное, не только ностальгия по Родине звала его еще в 1924 году вернуться в Россию (Слава Богу, что этого не случилось тогда!). А когда в 1927 году он должен был подписать знаменитую Декларацию митрополита Сергия, то в этот ответственный момент думал о Божиих людях, о Святой Руси. Не официальное признание советской властью Московской Патриархии, а возможность проповеди Слова Божия, всегда питавшего русский православный народ, вселяла надежду и звала домой. И в невольном изгнании, прислушиваясь к долетающим из-за «железного занавеса» отголоскам жизни в России, владыка приходил к скорбному выводу: «Ах! Как мы не ценили свою Русь! Повторяю теперь я часто... Святая Русь».

И скорбя о своем «потерянном рае», владыка делал все возможное для своих пасомых — беженцев, для этой малой России, отступившей с оружием в руках, унесшей с собой свою веру и высшую идею. Ведь стадо Христово, оказавшееся на чужбине, тем более ждало пастырского слова и утешения... И здесь, на чужбине, Святая Русь светилась тихим чудесным светом. Удивительные дары являлись в людях, перенесших столько испытаний: жертвенность, самоотверженность, умение прощать. Всю оставшуюся жизнь вспоминал потом митрополит Вениамин исповеди маленьких кадетов — русских мальчиков, удивлявших своей чистотой и покаянным настроем. Конечно, далеко не у всех людей Русского зарубежья перенесенные страдания вызвали возрождение религиозного чувства, тяготение к Церкви. Не будем судить их — не имеем права. Отметим лучше замечательное свойство автора записок о Божиих людях — узнавать всюду «хороших людей», находить их, радоваться тому, что такие люди существуют. Он действительно был сродни им и тянулся навстречу каждой открывавшейся ему душе. Нам, привыкшим всякую оценку личности или явления вольно или невольно соединять с осуждением, а чей-либо чужой успех — даже преуспевание в делах добрых и полезных — отравлять ядом зависти, очень трудно подняться до такого восприятия наших ближних. Более того, сам владыка Вениамин считал и всю жизнь старался придерживаться правила: похвала — тоже форма превозношения над тем, кого хвалишь. И потому в его повествовании нет того мирского, плотского восторга, «ахов» и «охов». И наверное, это и есть признак искренности и глубины чувства.

Когда митрополит Вениамин после долгих лет разлуки впервые приехал в Россию, то самым ярким впечатлением его была встреча с

верующим народом, с возрождавшейся в суровых условиях военного времени церковной жизнью: людские толпы, заполнявшие храмы, недавно открытые или вернувшиеся в Церковь из обновленческого раскола. Проницательный владыка не мог не видеть, что «благоволение» оставшегося безбожным государственного аппарата к Церкви далеко не бескорыстно и политики преследуют здесь свои цели. Но это не омрачало его радости, выраженной в заветных словах: «Русь и теперь Святая!» Святая в стремлении к Божественному Идеалу, в неостывающем пламенении верующих сердец, в алкании Слова Божия. Не каждый свят, далеко не каждый праведен. Годы уйдут на покаяние, на залечивание нанесенных жестоким веком душевных ран, на исправление искривившихся под влиянием лжи и неправды душ. Но эта-то уставшая от кривды и припадающая к стопам Спасителя Русь слышит Божиих людей, помнит их заветы и еще поставит из своей среды новых праведников, которые будут светить миру. «Русь и теперь Святая!» — это скорее упование, чем свидетельство о наличии факта; пламенная надежда, имеющая под собою и реальное основание в настроении всероссийской паствы...

Веруем (ибо ничто не случайно) — есть закономерность в том, что книги митрополита Вениамина приходят к нам именно сегодня. Не будем лишний раз поминать внешние благоприятные причины, сделавшие возможным то, о чем несколько лет назад невозможно было даже помыслить. В конце концов и эти внешние обстоятельства предопределены, и сему должно быть. Сегодня Святая Русь привлекает взоры многих наших соотечественников. И слово владыки Вениамина, его свидетельства о Божиих людях помогут им обрести Истину.

Вновь возжены лампады в Оптиной пустыни, восстают из пепла храмы, возрождается церковная жизнь. Важно восстановить сокрушенные кости храма, важно облечь их в плоть, привести в них народ Божий. Но важно также и восстановить великую преемственность живой благодатной жизни, вспомнить о тех, кто в этих храмах и обителях подвизался подвигом добрым, вспомнить о святых Божиих людях, не дерзая подняться до их уровня, но смиренно испрашивая у них ходатайства за «единородный им язык», за всех нас, возвращающихся в Отчий дом из страны далекой... Пусть записки владыки Вениамина будут для нас яркими и памятными страницами в учебнике благочестия.

И еще один, на наш взгляд, очень важный момент — историко-культурный, который может иметь в свою очередь и большое значение в нашей духовной жизни (религиозной, церковной).

Так получилось, что в силу ряда всем теперь уже известных причин в освещении истории Русской Православной Церкви, всего нашего народа образовался большой пробел: нам мало известно о событиях, происходивших в первые послереволюционные десятилетия. Мало знаем мы и о людях Церкви, живших в те нелегкие годы. Все это было сокровенным до поры. Что-то умалчивалось, о чем-то гово-

рить было «не принято». Официальные светские историки мало занимались этим вопросом. Для нас же, православных людей, очень важно знать, помнить, видеть воочию живые свидетельства того, что даже в самые трудные, самые страшные годы, в крайне неблагоприятных обстоятельствах продолжался труд на Божией ниве, не прерывался подвиг святости и жертвенного служения Богу и ближним.

Увы, вся недавняя история была во многом под запретом. Более того, замалчивался или как-то «опускался» и период предреволюционный, рубеж XIX и XX столетий, в истории которого можно отыскать много поучительного для сегодняшних христиан: ведь опыт подвижников этого периода приобретался в исторически близкое к нам время. Сегодня для многих людей (и не только для верующих) все яснее и рельефнее становится картина великих духовных подвигов, явленных русскими подвижниками, уже многие из наших современников осознают реальную силу их влияния на народ, на общество и государственность. Но это — сегодня. А что было совсем недавно?

Не хотелось бы говорить об этом, но действительно: где, в каком отечественном издании до самого последнего времени можно было отыскать хоть сколько-нибудь объективно изложенные сведения о святом Тихоне, патриархе Московском, об отце Иоанне Кронштадтском, о святом Феофане-затворнике и святителе Игнатии Брянчанинове? Об оптинских старцах?

Память о них хранили пожелтевшие страницы старых книг, а что не вместилось в страницы, бережно хранило народное предание, сберегая и духовное сокровище, и целый пласт русской культуры.

Среди разрушенной и оскверненной Оптиной вилась тропка к могилам старцев, к безыскусному, но очень трогательному, любовно поставленному памятнику, стоящему «незаконно» у стен поруганного монастырского храма. Каждый православный житель переименованного града святого Петра знал, где лежит «дорогой батюшка отец Иоанн», а для православного москвича были дороги, скажем, здание Бакунинской клиники, где умирал Святейший Тихон, и чтимые могилки на Введенском кладбище... Этих сведений нельзя было найти в официальных источниках, их хранило сердце народа — Святая Русь. Предание записывалось кем-то, собиралось в «самиздатовские» книги, порой безымянные, но всегда с радостью читаемые и желанные. Так же вот жило и собранное владыкой Вениамином наследие Божиих людей; и сонм их, целая галерея прекрасных портретов русских праведников, причастных вечности, восставал перед мысленным взором благочестивого читателя, «научая на доброе». Так будет и теперь, когда свеча в подсвечнике будет поставлена горé и будет светить теперь уже всем нам, делающим робкие попытки подняться к вратам Святой Руси.

Верим также и в то, что публикация текстов владыки Вениамина

послужит и к восполнению наших познаний об отрезке времени, венчающем «петербургский» период нашей истории.

Святая же Русь живет... И безусловно, есть в этом и результат молитвы и подвигов Божиих людей, о которых рассказал митрополит Вениамин, и тех, о ком мы, может быть, никогда ничего не узнаем.

Есть великий соблазн увидеть в книге митрополита Вениамина всего лишь осколочек безжалостно разбитого прекрасного зеркала, следы разрушенной цивилизации, способные вызвать в лучшем случае щемящее чувство ностальгии по чужому прошлому. Да не будет этого. Перед нами — живые люди: «праведники всегда живут», и они помогут нам устоять среди страстей и треволнений мира сего, помогут с дерзновением веры ответить на «коварный вопрос»: «Кто Бога видел?»

Нам же остается лишь добавить, что для публикации взят машинописный экземпляр записок митрополита Вениамина (Федченкова), хранящийся в библиотеке Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Пользуемся случаем, чтобы выразить глубокую благодарность наместнику и братии святой обители за предоставленную возможность пользоваться материалами из монастырского книгохранилища.

Алексей Светозарский

БОЖИИ ЛЮДИ

ОПТИНА

Оптина... Так сокращенно называли обычно этот монастырь богомольцы. Подобно и Саровский монастырь называли просто «Саров». Иногда к Оптиной присоединяли и слово «пустынь», хотя пустынного там не было ничего, но этим хотели, вероятно, отметить особую святость этого монастыря.

Оптина находится в Калужской губернии, в Козельском уезде, в 4 верстах от города, за речкой Жиздрой, среди соснового бора.

Самое слово Оптина толкуют различно. Но нам, с духовной точки зрения, больше по душе легенда, что эта пустынь получила свое имя от какого-то основателя ее, разбойника Опты. Так ли это было на самом деле или иначе, но посетителям, да и монахам, это объяснение нравится больше, потому что богомольцы тоже приходили туда с грехами и искали спасения души: да и монашеское житие по сущности своей есть прежде всего покаянное подвижничество.

Прославилась же Оптина своими «старцами». Первым у них был отец Лев — или Леонид — ученик знаменитого старца, Паисия Величковского, подвизавшегося в Нямецком монастыре, в Молдавии. После отца Льва старчество перешло к преемнику его, иеромонаху о. Макарию (Иванову), происходившему из дворян. Про него сам митрополит Московский Филарет сказал однажды: «Макарий — свят». Под его руководством воспитывался и вызрел «мудрый» Амвросий, учившийся сначала в семинарии. Потом были старцы — два Анатолия, Варсонофий — из военной среды, и о. Нектарий. Последнего, а

также и второго Анатолия видел я лично и беседовал с ними. Но кроме этих, особо выдающихся иноков и настоятеля, и многие монахи тоже отличались высокою святою жизнью. Впрочем, и вся Оптина славилась на Россию именно духовным подвижничеством братии, что связано было больше всего со старчеством и в свою очередь воспитывало опытных старцев.

Старец — это опытный духовный руководитель. Он не обязательно в священном сане, но непременно умудренный в духовной жизни, чистый душою и способный наставлять других. Ради этого к ним шли за советами не только свои монахи, но и миряне со скорбями, недоумениями, грехами... Слава оптинских старцев за одно второе полстолетие распространилась за сотни и тысячи верст от Оптиной, и сюда тянулись с разных сторон ищущие утешения и наставления. Иногда непрерывная очередь посетителей ждала приема у старца. С утра до вечера. Большей частью это были простые люди. Среди них иногда выделялся священник или послушник монастыря. Не часто, но бывали там и интеллигентные лица: приходил сюда и Толстой, и Достоевский, и великий князь И. Константинович, и Леонтьев, и б. протестант Зедергольм; жил долго при монастыре известный писатель С. А. Нилус; постригся в монашество бывший морской офицер, впоследствии епископ Михей; при о. Макарии обитель была связана с семьей Киреевских, которые много содействовали издательству монастырем свято-отеческих книг; отсюда же протянулись духовные нити между обителью и Н. В. Гоголем; известный подвижник и духовный писатель, епископ Игнатий Брянчанинов, тоже питался духом этой пустыни. А кроме этих лиц дух внутреннего подвижничества и старчества незаметно разлился по разным монастырям. И один из моих знакомых писателей, М. А. Н., даже составлял родословное дерево, корнями уходившее в Оптину... Хорошо бы когда-нибудь заняться и этим вопросом какому-нибудь кандидату богословия при писании курсового сочинения... А мы теперь перейдем уже к записям наших воспоминаний.

Конечно, они не охватывают всех сторон монастырской жизни обители; не говорят о подвижнической страде иноков, какая известна была лишь им, их духовникам, да Самому Богу. Я буду говорить лишь о более выдающихся лицах и светлых явлениях Оптиной. Разумеется, такое описание будет односторонним. И

правильно однажды заметил мой друг и сотоварищ по СПб. Д. Академии, впоследствии архимандрит Иоанн (Раев), скончавшийся рано от чахотки, — что я подобным описанием ввожу читателей, а прежде — слушателей, в некое заблуждение. Он привел тогда такое сравнение. Если смотреть на луг или цветник сверху, то как покажется он красивым со своими цветами и яркой зеленью. А спустись взором пониже, там увидишь голенький стволик с веточками. Но и здесь еще не источник жизни, а — внизу, в земле, где корявые и извилистые корни в полной тьме ищут питания для красивых листочков и цветочков. Тут уже ничего красивого для взора нет, наоборот, и неблаголепно, и грязно... А то и разные червяки ползают и даже подгрызают и губят корни, а с ними вянут и гибнут листочки и цветочки.

Так и монашество, — говорил о. Иоанн, — лишь на высотах и совне — красиво; а самый подвиг иноческий и труден, и проходит через нечистоты, и в большей части монашеской жизни является крестной борьбой с греховными страстями. А этого-то ты, — говорил друг, — и не показываешь в своих рассказах.

Все это совершенно верно, — скажу я. Но ведь и в Житиях Святых описываются большей частью светлые явления из жизни их и особенные подвиги. А о греховной борьбе упоминается обычно кратко и мимоходом. И никогда почти не рассказывается о ней подробно. Исключением является лишь житие св. Марии Египетской, от смрадных грехов дошедшей потом до ангелоподобной чистоты и совершенства. Но и то описатели оговариваются, что они делают это вынужденно, чтобы примером такого изменения грешницы утешить и укрепить малосильных и унывающих подвижников в миру и в монастырях. Так и мы вообще не будем много останавливаться на наших темных сторонах: это не поучительно. Да они мне и неизвестны в других людях: о чем бы стал я говорить?! Впрочем, где следует, там будет упомянуто и об этом. Читателю же действительно нужно и полезно не забывать, что высоте и святости угодников Божиих и предшествует и сопутствует духовная борьба; иногда — очень нелегкая и некрасивая...

Кстати, и сам упомянутый о. Иоанн должен по справедливости быть причислен к лику подвижников: он мало жил; умер будучи инспектором Полтавской семинарии.

Имя Божие

Мне дважды привелось бывать в Оптиной. Еще с академии я узнал о ней. И будучи студентом, в одном селе встречал духовных чад старца Амвросия и слушал их рассказы о нем. Но сам и не думал о посещении пустыни: не воспитывали в нас ни в семинариях, ни в академиях интереса и любви ни к монастырям, ни к подвижникам, ни к таким светилам Церкви, как даже о. Иоанн Кронштадтский или епископ Феофан, затворник Вышенский, уже наши современники. Учеба, книги — вот был наш интерес. Потому и после академии почти никто из нас не думал о посещении обителей вообще.

Будучи ректором Таврической семинарии, решил я, к концу летних каникул, посетить Оптину. На следующий год, или через два, я вторично побывал там, будучи ректором Тверской семинарии. Жил недолго — не больше двух недель. Конечно, за такой короткий срок я заметил лишь немногое из богатых сокровенных сокровищ святой обители. Оба воспоминания солью воедино.

В первый раз я приехал на извозчике в монастырь днем и остановился в так называемой «черной» гостинице, где останавливались «обыкновенные» богомольцы: мне не хотелось выделяться из них и обращать на себя внимание. Помню заведующего инока, с темными густыми волосами; я не знал никого. Мы пили вместе с ним чай. Ничего особо не было. Но вот однажды он пригласил к чаю афонского монаха, удаленного со Святой горы за принадлежность к группе «имебожников», а теперь проживавшего в Оптиной. Сначала всё было мирно. Но потом между иноками начался спор об Имени Божием. Оптинец держался решения Св. Синода, осудившего это новое учение о том, что «имя Бог есть Сам Бог». Афонец же защищал свое. Долго спорили отцы. Я молчал, мало интересуясь тогда этим вопросом. Оптинец оказался остроумнее; и после долгих и резких споров он, казалось, почувствовал себя победителем. Афонец, хотя и не сдался, но вынужден был замолчать. И вдруг, — к глубокому моему удивлению, — победитель, точно отвечая на какие-то свои тайные чувства, ударяет кулаком по столу и, вопреки прежним своим доказательствам, с энергией заявляет: «А все-таки имя Бог есть Сам Бог!». Спор больше не возобновлялся. Я же удивленно думал: что

побудило победителя согласиться с побежденным?! Это мне было непонятно. Одно лишь было ясно, что обоим монахам чрезвычайно дорого было «Имя Божие». Вероятно, и по опыту своему, творя по монашескому обычаю молитву Иисусову («Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного»), они оба знали и силу, и пользу, и сладость призывания имени Божия; но только в богословствовании своем не могли справиться с трудностями учения богословских формулировок.

Потом, посещая некоторых оптинских монахов, я заметил у них в келиях, большей частью у икон, листы бумаги, где славянскими буквами были написаны эти святые слова: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». По-видимому, эти иноки в какой-то степени сочувствовали защите имени Божия. Но не смея и не имея сил делать это словами, выражали свое почитание имени Божия вывеской на бумаге.

«Боже, — думал я, — в миру безбожие ширилось, маловерие, равнодушие, а тут люди еще горячатся и спорят о значении и силе даже имени Божия! Значит, они так или иначе живут жизнью в Боге».

Отец Анатолий

Через 2—3 дня моей жизни пронеслась весть в монастырь: прибывает чудотворная икона Калужской Божией Матери (память 2 сентября). К указанному времени многие монахи и богомольцы вышли навстречу святой иконе по лесной дороге и, приняв ее, пошли обратно в монастырь с пением молитв.

Вдруг я вижу, как из нашей толпы некоторые отделяются от процессии и спешно-спешно торопятся в правую сторону. Через несколько моментов там уже собралась густая толпа народа, плотным кольцом кого-то или что-то окружавшая. Из простого любопытства я тоже направился туда: в чем дело? Чтобы оставить икону Богородицы, нужна была какая-то особая причина к этому. Протискавшись немного к центру толпы, я увидел, что все с умиленной любовью и счастливыми улыбками смотрят на какого-то маленького монаха в клобуке, с седенькой, нерасчесанной, небольшой бородкой. И он тоже всем улыбался немного. Толпа старалась получить от него благословение. И я увидел, как вокруг этого маленького ста-

ричка все точно светилось и радовалось. Так милые дети встречают родную мать.

— Кто это? — спрашиваю я соседа.

— Да батюшка отец Анатолий! — ласково ответил он, удивляясь, однако, моему неведению.

Я слышал о нем, но не пришлось еще встретить его лично; да и не было особой нужды в этом: не имел никаких вопросов к нему. А теперь явился вопрос о нем самом: что за чудо? Люди оставили даже икону и устремились к человеку. Почему? И ответ явился сам собою: святой человек тоже чудо Божие, как и икона, только — явное чудо. Святой есть только «образ» Божий, воплощенный в человеке. Как в иконе, так и во святых людях живет Сам Бог Своею благодатью. И тут и там Сам Бог влечет нас к Себе Своими дарами радости, утешения, милосердия, духовного света. Как Спаситель с Моисеем и Илией явились на Фаворе в благодатном несозданном свете ученикам, и тогда Петр от восторга воскликнул: «Господи! Хорошо нам здесь быть» (Лк. 9,33). Так и через святых людей эта же преображенская благодать и светит, и греет. А иногда, — как это не раз было с о. Серафимом Саровским, — она проявляется и в видимом, хотя и в сверхъестественном, свете. Так было и теперь: через «батюшку» (какое ласковое и почитательное слово!) светилось Солнце правды. Христос Бог наш. И люди грелись и утешались в этом свете.

Вспомнились мне и слова апостола Павла о христианах: «Разве не знаете, что вы — храм Божий, и дух Божий живет в вас?». (I Кор. 6,19).

И — другое его изречение, что всякий христианин должен бы возрастать в образ совершенный, в меру возраста полноты Христовой (Ефес. 4,13)... Вот какая высота задана христианину — Сам Богочеловек, Христос!

И это — не дерзость хищения невозможного (Фил. 2,6), а повеление и заповедь Спасителя, данная на последней Его беседе:

«Если кто будет исполнять Мои заповеди, то будет возлюблен Отцем Моим; и Мы придем к тому и обитель в нем сотворим». (Ин. 14,23).

Это — цель и задача христианской жизни: общение с Богом через благодать святого Духа. И тогда облагодатствованные люди начнут изливать свой, т. е. Божий свет и на других.

Боже, как велики сами по себе и чрезвычайно важны для других эти святые люди! Выше их нет никого!

Пришлось и мне встречать в жизни своей так называемых «великих» людей, но никогда я не чувствовал их величия: человек как человек, обыкновенный. Но вот когда приходилось стоять перед святым, тогда ясно чувствовалось действительное величие их... Вот это — необыкновенные люди!.. А иногда и страшно становилось при них, — как это мне пришлось ярко пережить при службе с о. Иоанном Кронштадтским.

И тогда понятным становится, почему мы прославляем святых, пишем их иконы, кланяемся им в землю, целуем их. Они — воистину достойны этого! Понятно станет и то, что мы в храмах кадим не только иконы Спасителя, Богородицы и святых, но и вообще — всех христиан: мы в них кадим, воздаем поклонение и почитаем Самого Бога, проявляющегося в своих образах: и в иконах, и в людях.

Ведь всякий христианин должен быть образом Божиим. Однажды мне пришлось спросить некоего старца:

— Как нужно относиться вообще к человеку?

— С почитанием, — ответил он.

Я удивился словам его:

— Почему?

— Человек есть образ Божий, — сказал он.

И когда этот образ восстанавливается в человеке, тогда его чтут и люди; повиновались Адаму в раю даже и звери. Об этом нам говорят и жития Герасима Иорданского и Серафима Саровского: и трепещут их даже бесы. Зато радуются им небожители. Когда Матерь Божия явилась с апостолами Петром и Иоанном св. Серафиму, то Она сказала им:

— Сей — от рода нашего!

От того же рода был и батюшка о. Анатолий. Сколько радости, любви и ласки изливалось от его лика на всех смотревших на него в Оптинском лесу, на солнечной прогалине!

Муж и жена

А вот — и наставление его, старческий совет. Я получил письмо от своего друга и товарища по академии, священника о. Александра Б. из Самарской губернии, о

разладе с женой... Уж как он любил ее невестой! Весь наш курс знал о ней, какая она хорошая и прекрасная. И вот они повенчались. Он получает приход в рабочем районе города. Нужно строить храм. Молодой и идейный священник с любовью и энергией принимается за дело. Постройка быстро двигается вперед.

Казалось бы, все хорошо. Но вот горе для матушки: ее батюшка запаздывает к обеду. Матушка недовольна этим: то пища остыла, то переварилась и пережарилась. Да и время напрасно пропадает, и другие дела по дому есть... И дети появились... И огорченная хозяйка начинает роптать и жаловаться на такой непорядок и расстройство жизни. А еще важнее то, что она, вместо прежней любви, начинает уже сердиться на мужа: разлагается семья. Батюшка же оправдывается перед ней:

— Да ведь я не где-нибудь был, а на постройке храма!

Но это ее не успокаивает. Начинается семейный спор, всегда болезненный и вредный. Наконец, матушка однажды заявляет решительно мужу:

— Если ты не изменишь жизни, то я уйду к родителям.

И вот к такому моменту мы обменялись с о. Александром письмами. Узнав, что я еду в Оптину, он описал все свое затруднение и попросил меня зайти непременно к о. Анатолию и спросить старческого совета его: как ему быть? Кого предпочесть — храм или жену?

Я и зашел в келию батюшки. Он принимал преимущественно мирских; а монахи шли к другому старцу о. Нектарию. В келии о. Анатолия было человек десять — пятнадцать посетителей. Среди них обратился с вопросом и я. Батюшка, выслушав с опущенными глазами историю моего товарища, стал сокрушенно качать головой.

— Ах, какая беда, беда-то какая! — Потом не колеблясь, хлопотливо начал говорить, чтобы батюшка в этом послушался матушки: — Иначе плохо будет, плохо!

И тут же припомнил мне случай из его духовной практики, как развалилась семья из-за подобной же причины. И припоминаю сейчас имя мужа: звали его Георгием.

— Конечно, — сказал о. Анатолий, — и храм строить — великое дело; но и мир семейный хранить — тоже святое Божие повеление. Муж должен, по апостолу Павлу, любить жену, как самого себя; и сравнил апостол жену с церковью (Ефес. 5,25—33). Вот как высок брак! Нужно сочетать и храм, и семейный мир. Иначе Богу

неугодно будет и строение храма. А хитрый враг-диавол, под видом добра, хочет причинить зло: нужно разуметь нам козни его. Да, — вот так и отпишите: пусть приходит вовремя к обеду. Всему есть свое время. Так и отпишите!

А потом, немного подумав, добавил:

— А тут добро-то добро: строить храм-то. Но к нему тайно примешивается и тщеславие... Да, примешивается, примешивается: ему хочется поскорее кончить... людям понравиться... Так и отпишите...

Я так и отписал. И дело поправилось.

Дворянская

Во второе посещение я приехал ночью. Извозчик из Козельска подвез меня почему-то не к «черной» гостинице, а к «дворянской», где принимали почетных или богатых гостей. Я не стал возражать. Было уже около часу ночи, если не два. Нужно сказать, что в то время моей жизни мне сопутствовала Иверская икона Божией Матери. Бывало, одну отдам кому-нибудь — получу скоро другую. И я уже так привык к сей святыне, что, куда бы ни приезжал, искал сначала: а нет ли и здесь Иверской? Так было и тут. Вхожу в первую комнату, — в переднем углу висит икона Спасителя. Я жалею уже — не Иверская. Вхожу в спальню: и в углу — Иверская: слава Богу!

Ложусь спать... Едва успел задремать, слышу звон к утрене! Хорошо бы встать да идти в храм. Но лень. Устал. И снова заснул... Проснулся довольно рано, часов около пяти. Было прекрасное августовское утро. Небо чистое. Солнце яркое. Зеленые деревья. Я открыл окно. И вдруг ко мне на подоконник прилетает голубь, совсем без страху. Я взял оставшийся от пути хлеб и стал крошить ему. Как мне это было отрадно: не боится людей! Но тут прилетает второй голубь. Я и ему отделяю крошки. Но первый уже стал ревновать: зачем я даю и другому?! И начинает клевать нового гостя. Сразу пропала моя радость:

— Господи, Господи! Вот и голуби враждуют и воюют. А уж, казалось бы, какие это мирные птицы! Даже Спаситель указывает на них, как на пример апостолам: «Будьте кротки, как голуби» (Мф. 10,16). И грустно ста-

ло на душе. А уж чего же требовать от нас, людей. При нашем себялюбии?! Говорят иные: не будет войн когда-то... Неправда: всегда будут, до конца миру. И не могут не быть; так как каждый из нас в самом себе носит источник войн: гордость, зависть, злобу, раздражение, сребролюбие... Недаром сказал один из писателей перед смертью, когда сын спросил его, прекратятся ли войны, — пока человек останется человеком, будут и войны!

Сам же Сын Божий предсказал, что мир ожидает не прогресс, а ухудшение человеческих отношений. И к концу мира будут особенно страшные войны: восстанет народ на народ (а не одни армии на армии), царство на царство. Зло лежит в нас самих, в сердцах наших; поэтому вся история этого мира и человека вообще — есть трагедия, а не легкая и веселая прогулка. Мир испорчен, и все мы грешны.

Так голуби мои и не примирились — улетели оба.

В тот же день я, посетивши о. игумена, попросил у него разрешения пожить мне в скиту: там больше уединения и духовного отдыха, чем при монастыре. И к вечеру я ушел туда.

Скит — это отделение монастыря, где монахи живут более строго и в большой молитвенности. Туда обычно не впускают посторонних лиц вообще, а женщинам — совсем не разрешается входить.

Оптинский скит, во имя св. Иоанна Предтечи, находится приблизительно в полверсте от монастыря. Кругом стройные высокие сосны. Среди них вырублено четвероугольное пространство, обнесенное стеной. Внутри — храм и небольшие отдельные домики для братии. Но что особенно бросается в глаза внутри его, это — множество разведенных цветов. Мне пришлось слышать, что такой порядок заведен был еще при старце о. Макарии. Он имел в виду утешать уединенную братию хотя бы красотою цветов. И этот обычай хранился очень твердо.

Мне сначала было отведено место в правой половине «Золотухинского» флигеля; в левой жил студент Казанской Духовной Академии о. А. Войдя в новое помещение, я устремился к углу с иконами: нет ли Иверской? Но там была довольно большая икона с надписью: «Портатисса». Я пожалел... Но потом спросил сопровождавшего монаха, что значит «Портатисса»? «Привратница», — ответил он, — или иначе — Иверская. Ее икона явилась Иверскому монастырю

на Афоне (Иверия — Грузия); и ей построили храм над воротами обители; потому что Матерь Божия в видении сказала: «Я не хочу быть хранимой вами, а Сама буду вашей Хранительницей». — Я возрадовался. И в этом скиту я прожил около двух недель.

Провожал меня сюда — высокий, статный инок с светло-белыми волосами и густой бородой. Имя его я уже не помню теперь. Но запомнил, что он был из семинаристов. Почему он — такой представительный, образованный и с хорошим басом — оставил мир и ушел в пустынь? Не знаю, а спрашивать было неделикатно.

Еще вспоминаю, что он почему-то рассказывал мне про искушение одного египетского монаха, боримого плотскими страстями; как тот не унывал от своего падения, а бежал обратно в монастырь, несмотря на то, что бес шептал ему вернуться в мир и жениться... Когда же монах пришел к старцу своему, то пал ему в ноги со словами: «Авва, я пал!» Старец же увидел над ним венцы света, — как символ того, что диавол несколько раз хотел его ввести в уныние и [убеждал] оставить монастырь; а благоразумный инок столько же отвергал эти искусительные помыслы и даже не сознавался в содеянном грехе, пока не пал в колена старца.

Старцы

Перед уходом в скит я — по совету ли игумена монастыря или кого из иноков — пожелал отслужить панихиду по усопшим старцам. За главным храмом, около стены алтаря, были две могилы — о. Макария и о. Амвросия. Мне дали в качестве певчего — клиросного монаха-тенора. В засаленном подряснике, с довольно полным животом, он произвел на меня неблагоприятное впечатление. Не похоже на оптинских прославленных святых, — думалось мне...

Поя панихиду, я заметил под надгробной плитой ямочку. Монах объяснил мне, что почитатели старцев берут отсюда песочек с верою для исцеления от болезней. И вспоминаются мне слова Псалмопевца об Иерусалимском храме, что верующие в Господа любят не только самый храм, но благоволят и о камнях его; и «персть (прах) его полижут». И что тут дивного, если и теперь русские эмигранты, возвращаясь на родину, берут горсть

земли и целуют ее; а иные припадают к ней лицом и тоже целуют. Пусть же не осуждают и нас, верующих, если мы берем песочек от святых могилок. Русский народ, при всей своей простоте, совершенно правильно и мудро понимал святые вещи. И чудеса могли твориться от этого. Из Деяний мы знаем, что не только головные уборы Апостолов изливали исцеления; но даже тени их творили чудеса (19,12; 5,15). А от о. Серафима Саровского оставшиеся вещи — мантия, волосы, камень, на котором он молился тысячу дней и ночей, вода из его колодца и проч. — творили чудеса.

«Велий еси, Господи; и чудны дела Твоя!» (Пс. 85,10).

Продолжу, однако, историю о «плохих» монахах. Для этого забегу немного вперед. Накануне праздника Успения Богоматери я стоял среди богомольцев; монахи там стояли в левой, особо выделенной части храма. Впереди на амвоне ходил с клироса на клирос послушник-канонарх и провозглашал певчим стихиры. Свое дело он вел хорошо. Но мне бросился в глаза белый ворот рубахи, выпущенный сверх воротника подрясника. И мне показалось, что этот монах недалек от мирян, тщеславящихся своими одеждами. «Какой же он оптинец?!» — так вот я осудил этих двух иноков. И думал, что я — прав в своих помыслах.

Но вот на другой день за литургией я сказал проповедь (об этом ниже). И что же? Когда я сходил с храмовой паперти, ко мне подбежали два монаха и при всем народе поклонились мне с благодарностью в ноги, прося благословения. Кто же были эти два монаха?.. Один из них полный певчий на могилках, а другой — этот канонарх с белым воротничком. Я был ошеломлен тем, что именно те двое, которых я осудил как плохих монахов, они-то именно и проявили смирение... Господь как бы обличил меня за неправильный суд о людях. Да, сердце человека ведомо лишь одному Богу. И нельзя судить нам по внешнему виду... Много ошибок делаем мы в своих суждениях и пересудах...

Вместе с этими монахами мне вспомнился и отец игумен монастыря. Я теперь забыл его святое имя, — может быть, его звали Ксенофонт? Это был уже седовласый старец с тонкими худыми чертами бледного лица. Лет более 70... Мое внимание обратила особая строгость его лица, даже почти суровость. А когда он выходил из

храма боковыми южными дверями, то к нему с разных сторон потянулись богомольцы, особенно — женщины. Но он шел поспешно вперед, в свой настоятельский дом, почти не оглядываясь на подходивших и быстро их благословляя... Я наполнился благоговейным почтением к нему. Этот опытный инок знал, как с кем обращаться. И вспоминается мне изречение святого Макария Великого, что у Господа есть разные святые: один приходит к Нему с радостью; другой — в суровости; и обоих Бог приемлет с любовью.

Вспоминаю другого игумена, по имени Исаакия. Он перед служением литургии в праздники всегда исповедался духовнику. Один ученый монах, впоследствии известный митрополит, спросил его: зачем он это делает и в чем ему каяться? Какие у него могут быть грехи? На это отец игумен ответил сравнением:

— Вот оставьте этот стол на неделю в комнате с закрытыми окнами и запертой дверью. Потом придите и проведите пальцем по нему. И останется на столе чистая полоса, а на пальце пыль, которую и не замечаешь даже в воздухе. Так и грехи: большие или малые, но они накапливаются непрерывно. И от них следует очищаться покаянием и исповедью.

По поводу этих «малых» грехов припоминается здесь широко известный случай с двумя женщинами, имевший место в Оптиной пустыни. К старцу о. Амвросию пришли две женщины. Одна из них имела на своей душе великий грех и потому была крайне подавлена. Другая была весела, потому что за ней никаких «больших» грехов не значилось. О. Амвросий, выслушав их откровения, послал обеих к речке Жиздре. Первой он велел найти и принести огромный камень, какой только она была в силах поднять; а другая должна была набрать в подол своего платья маленьких камней. Те исполнили повеленное. Тогда старец велел обеим отнести камни на старые места. Первая легко нашла место большого камня, а вторая не могла вспомнить всех мест своих небольших камней и воротилась со всеми ими к старцу. Он и объяснил им, что первая всегда помнила о великом грехе и каялась и теперь могла снять с души своей его; вторая же не обращала внимания на мелкие грехи, а таких оказалось много, и она, не помня их, не могла очиститься от них покаянием.

Здесь же заметим, что в монастырях обычно один лишь игумен монастыря называется — «батюшка» — как одна матка в пчелином улье. А прочие монахи —

как рясофорные, так и манатейные (постриженные в мантию) и иеромонахи — именуются — «отцы», с прибавлением их монашеского имени. Исключение составляют лишь «старцы», народ обычно называет их тоже «батюшка»; а монахи и тут отличают их от игуменов, называя — «старец» такой-то, по имени.

Скитники

Запишу разговор со мною о. Феодосия, настоятеля скита, о монашестве моем.

— Вы для чего приняли монашество? — спросил он меня.

— Ради большего удобства спасения души и по любви к Богу, — ответил я.

— Это — хорошо. Правильно. А то вот ныне принимают его, чтобы быть архиереями «для служения ближним», — как они говорят. Такой взгляд — неправильный и несмиренный. По-нашему, по-православному, монашество есть духовная, внутренняя жизнь; и прежде всего — жизнь покаянная, именно ради спасения своей собственной души. Ну, если кто усовершится в этом, то сможет и другим послужить на спасение. А иначе не будет пользы ни ему, ни другим.

Утренние службы совершались недолго, но зато скитские иноки вообще проводили значительную часть дня в свободных молитвах, по келиям. И эта сторона их жизни была ведома лишь им да Богу... Известно, что всякие «правила» и уставы о молитве нужны больше всего для нас новоначальных, не воспитавших еще молитвенного горения «непрестанной» молитвы и «стояния пред Богом». Усовершившимся же в этом внешние правила необязательны; а иногда даже они отвлекают от внутренней молитвы.

Какова была эта сторона жизни у подвижников и у старца Нектария, мне было неизвестно, а спрашивать не смел; да и признаться, и не очень-то интересовался этим, будучи сам нищим в молитве. Только я прежде уже заметил, что, например, у о. Нектария глаза были воспалены: не от молитвенных ли слез? Говорил мне кто-то, что у него еще и ноги больные, распухшие: ясно, от долгих стояний и поклонов...

В молитвенности и заключается главная жизнь подлинных иноков, путь к благодатному совершенству, и

даже средство к получению особых даров Божиих: мудрости старческой, прозорливости, чудес, святости. Но эта сторона жизни — сокровенная у подвижников. Однако мы никогда не должны забывать о ней, как самой главной, если желаем хоть умом понять жизнь вообще святых.

Вставать приходилось около трех часов утра. Будил нас по келиям довольно молодой еще послушник, о. Нестор. Очень милый и ласковый, всегда с улыбкой на чистом лице, с небольшой бородкой. Говорили про него, что он любил спать; поэтому ему и дано было послушание будить других: для этого он вынужден был поневоле вставать раньше, чтобы обойти весь скит. Но и после, говорят, его тянуло ко сну.

О. Макарий, в противоположность о. Нестору, был человек сурового вида. Огромная рыжая борода, сжатые губы, молчаливый, он напоминал мне о. Ферапонта из «Братьев Карамазовых» Достоевского. Он занимал положение эконома в скиту. На эту должность вообще назначают людей посуровее, чтобы не расточал зря, а берег монастырское добро. Познакомился же я с ним по следующему поводу. Однажды я с сожителем в Золотухинском «корпусе», о. Афанасием, пошли к литургии; и позабыв внутри ключ от дома, захлопнули дверь его. Что делать? Ну, думаем, после попросим о. эконома помочь нам: у него много всяких ключей. Так и сделали. О. Макарий молча пошел с нами. В рясе и клобуке — величаво. А замок наш был винтовой. О. эконом вынул из связки один подобный ключ, но его сердечко было меньше дырочки замка. Тогда он поднял с земли тоненькую хворостиночку, вложил ее в отверстие замка и молча начал опять вертеть ключом. Не помогало. Тогда я посоветовал ему:

— О. Макарий, вы бы вложили хворостиночку потолще! А эта — тонка: не отопрете.

— Нет, не от того. Без молитвы начал! — сурово ответил он.

И тут же перекрестился, прочитав молитву Иисусову: «Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй мя грешного!» И снова начал вертеть ключ с прежней хворостиночкой. И замок тут же открылся. О. Макарий, не говоря более ни слова, ушел к себе, а мы разошлись по своим комнатам.

По этому поводу и в связи с ним мне вспоминается и

другой случай. Спустя десять лет, будучи уже эмигрантом в Европе, я был на студенческой конференции «Христианской ассоциации молодых людей» в Германии, в г. Фалькенберге. По обычаю, мы устраивали временный храм и ежедневно устраивали богослужения; а в конце недельной конференции все говели и причащались.

В устройстве храма мне помогал друг — студент А. А. У-в. На алтарной стороне нужно было повесить несколько икон. Юноша начал вбивать в стену гвозди, но они попадали на камни и гнулись. Увидев это и вспомнив о. Макария, я сказал: «А вы сначала перекреститесь и молитву сотворите, а потом уже выбирайте место гвоздю».

Тот послушно исполнил это. Помолился и наставил гвоздь в иное место, ударил молотком, и он попал в паз, между камнями. То же самое случилось и со вторым гвоздем и с прочими.

Был подобный случай и с о. Иоанном Кронштадтским. Встав рано утром, около 3 часов, он, по обычаю, должен был читать утреннее правило ко Причащению. Но никак не мог найти этой книжки. Безуспешно пересмотрев все, он вдруг остановился и подумал: «Прости меня, Господи, что я сейчас из-за поисков твари (книги) забыл Тебя, Творца всяческих!» — И немедленно вспомнил место, куда он вчера положил книгу.

Потом в жизни я многим рассказывал об этих случаях. И сам нередко на опыте проверял истинность слов «сурового» отца Макария: «Без молитвы начал».

О. Кукша. Странное имя, никогда прежде мною не слышанное. Память этого святого 27 августа. Жил он в Киевской Лавре в конце XI и начале XII века. Он миссионерствовал среди вятичей; творил чудеса. Вместе со своим учеником Никоном был убит язычником. Мощи их доселе лежат в Антониевых пещерах. Живший в то время в Лавре Пимен Постник воскликнул среди Церкви:

— Брат наш Кукша убит! — и сам тотчас же скончался (1113 г.).

В память этого священномученика и было дано при постриге имя оптинскому иноку.

Я с ним познакомился ближе потому, что монастырское начальство нашло нужным перевести меня из Золотухинского дома в другой, в келью рядом с о. Кукшей. Это был пожилой уже монах, лет около 65, а может быть, и больше; небольшого роста, с светлой бородой; и

необыкновенно простой и жизнерадостный. Он мне готовил чай в маленьком самоварчике, вмещавшем 4—5 чашек. Тут лишь мы и встречались с ним. И в скиту, и в монастыре не было обычая и разрешения ходить по чужим келиям без особого послушания и нужды. И я не ходил. А однажды зашел-таки по приглашению к одному монаху, но после получил от о. Феодосия легкое замечание:

— У нас — не ходят по келиям.

Вероятно, и пригласивший меня получил выговор. Хотя наша беседа с ним была не на плохие темы, а о святых отцах и их творениях, но раз — без благословения, то и хорошее — не хорошо...

И к о. Кукше я не ходил; и даже не видел его келии, хотя жили рядом в доме. Да и он заходил ко мне исключительно по делу, и наши разговоры были случайными и короткими. Однажды он с удивительной детской простотой сказал мне о старчестве и о старцах:

— И зачем это, не знаю... Не знаю! Все так ясно, что нужно делать для спасения! И чего тут спрашивать?!

Вероятно, чистой душе его, руководимой благодатью Святого Духа, и в самом деле ни о чем не нужно было спрашивать: он жил свято и без вопросов. Беззлобный, духовно-веселый, всегда мирный, послушный — отец Кукша был как дитя Божие, о которых Сам Спаситель сказал: «Коли не будете как дети, не войдете в Царство небесное» (Мф. 18,3). Но однажды с нами случилось искушение. Мне захотелось отслужить утром литургию. А о. Кукша заведовал церковной стороной скита и ризницей. Потому я и сказал ему накануне о своем желании. По чистой простоте он радостно согласился, и я отслужил.

А в скиту был обычай — вечерние молитвы совершать в домике о. скитоначальника. После этого мы все кланялись о. Феодосию в ноги, прося прощения и молитв, и постепенно уходили к себе. А если ему нужно было поговорить с кем-либо особо, то он оставлял их для этого после всех. Но на этот раз о. Феодосий оставил всех. Братии в скиту было немного. После «прощения» он обращается к о. Кукше и довольно строго спрашивает:

— Кто благословил тебе разрешить отцу архимандриту (т. е. мне) служить ныне литургию?

О. Кукша понял свою вину и без всяких оправданий

пал смиренно в ноги скитоначальнику со словами: «Простите меня, грешного! Простите!»

— Ну, о. архимандрит не знает наших порядков. А ты обязан знать! — сурово продолжал выговаривать о. Феодосий.

О. Кукша снова бросается в ноги и снова говорит при всех нас:

— Простите меня, грешного, простите!

Так он и не сказал ни одного словечка в свое оправдание. А я стоял тоже, как виноватый, но ничего не говорил... Потом, с благословения начальника, мы все вышли... И мне, и всей братии был дан урок о послушании... Действительно ли о. Феодосий рассердился или он просто через выговор смиренному о. Кукше хотел поучить и других, а более всего — меня, не знаю. Но на другой день утром вижу в окно, что он, в клобуке и даже в мантии, идет к нашему дому. Вошел ко мне в келию, помолился перед иконами и, подавая мне освященную за службой просфору, сказал:

— Простите меня, о. архимандрит, я вчера разгневался и позволил себе выговаривать при вас о. Кукше.

Не помню теперь, ответил ли я что ему или нет.

Но вот скоро встретился другой случай. В Калужскую епархию приехал новый архиерей: епископ Георгий. Он был человек строгий и даже крайне властный. День был солнечный. Утро ясное. Вижу, о. Феодосий направляется с о. Кукшей к храму св. Иоанна Предтечи. Я поклонился. Батюшка говорит мне, что ныне он с о. игуменом монастыря едет в Калугу представляться новому Владыке.

— Вот сначала нужно отслужить молебен.

А я про себя подумал: монахи едут к общему Отцу епархии и своему, а опасаются, как бы не случилось никакого искушения при приеме... Странно...

В это время отец Кукша отпер уже храм, и мы двинулись туда. На пути о. Феодосий говорит мне:

— Вы знаете? О. Кукша — великий благодатный молитвенник. Когда он молится, то его молитва — как столп огненный летит к престолу Божию!

Я молчал. И вспомнил выговор этому столпу: видно, было нужно это и ему, и всем нам.

Седовласый о. Афанасий. Представьте себе глубокого старца с белыми волосами, с белой широкой бородой, закрывавшей почти всю грудь его. На голове мягкая монашеская камилавка. Глаза опущены вниз и духовно обра-

щены внутрь души, — точно они никого не видят. Если кто помнит картину Нестерова «Пустынник», то о. Афанасий похож на него, только волосы белее. В первый раз я обратил на него свое внимание в скитской трапезной. В чистой столовой, человек на 20—25, в середине стоял стол, а по стенам лавки. Первый приходивший сюда, положив, по обычаю, троекратное крестное знамение, садился направо на первое от дверей место. Входивший за ним другой инок, после крестного знамения, кланялся пришедшему раньше и занимал соседнее место. Так же делали и другие, пока к строго определенному времени не приходили все. И никто ничего не говорил. Нагнувши лицо вниз, каждый или думал что, или — вернее — тайно молился. На этот раз мне пришлось в ожидании трапезы сидеть рядом с о. Афанасием. В молчаливой тишине я вдруг услышал очень тихий шепот со стороны своего соседа. Невольно я повернул свое лицо и заметил, как о. Афанасий двигает старческими губами и шепчет молитву Иисусову... По-видимому, она стала у него беспрестанною привычкою и потребностью.

После обеда я спросил у кого-то из скитников: какое особое, — кроме молитвы, — послушание несет старец? Оказалось, что он из скита носит на «скотный двор» грязное белье монахов для стирки. Этот двор расположен где-то в лесу, в стороне от монастыря, и там трудится несколько женщин, Бога ради. Вот туда и посылают старца, убеленного сединами.

Отец Иоиль. Я уже упоминал о нем, как об очевидце визита Л. Н. Толстого к о. Амвросию. Теперь добавлю его рассказ о сотрудничестве с этим святым старцем. Батюшка начал и вел постройку женского Шамординского монастыря больше с верою, чем с деньгами, которые давал ему на это дело народ и благотворители. И не раз, в конце недели, рабочим нечем было платить. О. Иоиль был подрядчиком на этой постройке, от лица о. Амвросия. Приходит время расчета, а денег нет... Народ — все бедный. Приступают к подрядчику: «Плати!» — «Нечем!» Подождите да потерпите. И рабочие — хоть бросай дело. А о. Иоилю и их жалко, и постройку нельзя остановить.

— Вот я один раз решил отказаться от послушания; невмоготу мне, — рассказывал он сам. — Пришел к Батюшке, упал ему в ноги и говорю: — Отпусти, сил никаких нет терпеть людское горе.

О. Амвросий уговаривает:

— Не отказывайся, проси их подождать.

И сам я плачу, а сил нет.

— Ну, подожди, подожди! — говорит Батюшка.

И пошел он к себе в келию. Ну, — думаю, — где-нибудь в столе своем отыщет деньги? А он выходит с иконой Казанской Божией Матери и говорит:

— О. Иоиль! Сама Царица Небесная просит тебя: не отказывайся!

Я упал ему в ноги. И опять пошел на дело.

Отец Исаакий. Кажется, таково было имя одного из скитских старых иеромонахов. Мы с ним встретились во внутреннем садике. Это был старец, лет под 70, но еще бодрый. Длинная, с проседью, борода. Он был духовником в этом самом Шамординском монастыре, наезжая туда по временам. К сожалению, из небольшой случайной нашей беседы осталось очень мало в памяти моей. Но он утешал меня, убеждая не унывать. Причем обратил мое внимание на то, что образованные монахи тоже делают святое дело в миру, тоже исполняют церковное послушание в школах, семинариях, во славу Божию. И при этом в глазах его светилась ласка и тихое ободрение.

СВЯТОЙ СТАРЕЦ ОТЕЦ НЕКТАРИЙ

Через ворота под колокольней вошел я внутрь двора скита. Меня приятно поразило множество цветов, за коими был уход. Налево узенькая дорожка вела к скитоначальнику о. Феодосию. Он был здесь «хозяином», но подчинялся отцу игумену монастыря, как и все прочие. Это был человек высокого роста, уже с проседью и довольно плотный. Познакомились. И я сразу попросил у него благословения сходить исповедаться у старца о. Нектария.

Опишу ту комнату, в которой я встретился с ним и где бывали и Достоевский, и Л. Толстой, и проф. В. С. Соловьев, и другие посетители. Этот домик назывался «хибаркою». Она была небольшая, приблизительно аршин пять на восемь. Два окна. По стенам скамьи. В углу икона и картина святых мест. Светилась лампадка. Под иконами стол, на котором лежали листочки религиозного содержания. Из приемной комнаты вела дверь в

помещение самого старца. А другая дверь от него вела в подобную же комнату, соседнюю с нашей: там принимались и мужчины, и женщины, в нее вход был прямо из леса, с внешней стороны скита; я там не бывал.

Другой старец, батюшка о. Анатолий, жил в самом монастыре и там принимал народ, преимущественно мирян; а монахам рекомендовалось — более обращаться к о. Нектарию.

Когда я вошел в приемную, там уже сидело четверо: один послушник и какой-то купец с двумя мальчиками, лет по 9—10. Как дети, они все о чем-то говорили весело и тихо щебетали; и, сидя на скамейке, болтали ножками. Когда их разговор становился уже громким, отец приказывал им молчать. Молчали и мы, взрослые: как в церкви, и здесь была благоговейная атмосфера, рядом — святой старец... Но детям это было невтерпеж, и они сползли со скамьи и начали осматривать красный угол с иконами. Рядом с ними висела картина какого-то города. На ней и остановилось особое внимание шалунов. Один из них говорит другому: «Это наш Елец». А другой возражает: «Нет, это Тула». — «Нет, Елец». — «Нет, Тула!» И разговор опять принимал горячий оборот. Тогда отец подошел к ним; и обоим дал сверху по щелчку. Дети замолчали и воротились назад к отцу на скамейку. А я, сидя почти под картиной, поинтересовался потом: за что же пострадали малыши? За Тулу или за Елец? Оказалось, под картиной была подпись: «Святый град Иерусалим».

Зачем отец приехал и привез своих деточек, я не знаю, а спросить казалось грешно: мы все ждали выхода старца, как церковной исповеди. А в церкви не говорят и об исповеди не спрашивают... Каждый из нас думал о себе.

Отец Иоиль, старый монах, рассказал мне маленький эпизод из жизни Л. Толстого, бывшего в скиту. Долго он говорил с о. Амвросием. А когда вышел от него, лицо его было хмурое. За ним вышел и старец. Монахи, зная, что у отца Амвросия известный писатель, собрались вблизи дверей хибарки. Когда Толстой направился к воротам скита, старец сказал твердо, указывая на него: «Никогда не обратится ко Христу! Горды-ыня!»

Как известно, он перед смертью ушел из своего дома. И, между прочим, посетил свою сестру Марию Николаевну, монахиню Шамординского монастыря, созданного

о. Амвросием: верстах в 12 от Оптиной. И тут у него снова явилось желание обратиться к старцам. Но он опасался, что они откажутся принимать его теперь, так как он был уже отлучен Церковью за свою борьбу против христианского учения: о св. Троице, о воплощении Сына Божия, о таинствах (о коих он выражался даже кощунственно). Сестра же уговаривала его не смущаться, а идти смело, уверяя, что его встретят с любовью... И он согласился... Слышал я, что он будто бы подошел к двери хибарки и взялся за ручку; но... раздумал и ушел обратно. Потом он поехал по железной дороге; и, заболев, вынужден был остановиться на ст. Астапово, Тульской губернии, где и скончался в тяжелых душевных муках. Церковь посылала к нему Епископа Тульского Парфения и старца Оптинского Варсонофия; но окружавшие его лица (Чертков и др.) не допустили их до умирающего.

Припомню тут и слышанное мною о нем во Франции.

Одно время я жил на побережье Атлантического океана. Там же в одном доме жила тогда и жена одного из сыновей Л. Толстого со своим внучком Сережей. И она иногда рассказывала кое-что о нем и тоже повторяла, что он был «гордый»... Но она жалела его... Внук был тоже чрезвычайно капризный: если что-либо было не по нем, то он бросался на пол и затылком колотился об него, крича и плача. А в другое время он был ласков ко всем... После отец, чех, выкрал его от бабушки; он тогда уже разошелся с внучкой Толстого.

Прождали мы в комнате минут десять молча: вероятно, старец был занят с кем-нибудь в другой половине домика. Потом неслышно отворилась дверь из его помещения в приемную комнату, и он вошел... Нет, не «вошел», а как бы вплыл тихо... В темном подряснике, подпоясанный широким ремнем, в мягкой камилавке, о. Нектарий осторожно шел прямо к переднему углу с иконами. И медленно-медленно и истово крестился... Мне казалось, будто он нес какую-то святую чашу, наполненную драгоценной жидкостью, и крайне опасался: как бы не пролить ни одной капли из нее? И тоже мне пришла мысль: святые хранят в себе благодать Божию; и боятся нарушить ее каким бы то ни было неблагоговейным душевным движением: поспешностью, фальшивой человеческой лаской и др. Отец Нектарий смотрел все время внутрь себя, предстоя сердцем пред Богом. Так советует и Еп. Феофан Затворник: сидя ли, ходя ли или делая

что, будь непрестанно перед лицом Божиим. Лицо его было чистое, розовое; небольшая борода с проседью. Стан тонкий, худой. Голова его была немного склонена книзу. Глаза — полузакрыты.

Мы все встали... Он еще раза три перекрестился перед иконами и подошел к послушнику. Тот поклонился ему в ноги; но стал не на оба колена, а лишь на одно, вероятно, по тщеславию стыдился делать это при посторонних свидетелях. От старца не укрылось это: и он спокойно, но твердо сказал ему:

— И на второе колено стань!

Тот послушался... И они о чем-то тихо поговорили... Потом, получив благословение, послушник вышел.

Отец Нектарий подошел к отцу с детьми: благословил их и тоже поговорил... О чем, не знаю. Да и не слушал я: было бы грешно подслушивать. О себе самом думал я... Все поведение старца произвело на меня благоговейное впечатление, как бывает в храме перед святынями, перед иконою, перед исповедью, перед Причастием.

Отпустив мирян, батюшка подошел ко мне, к последнему. Или я тут отрекомендовался ему, как ректор семинарии; или прежде сказал об этом через келейника, но он знал, что я — архимандрит. Я сразу попросил его принять меня на исповедь.

— Нет, я не могу исповедывать вас, — ответил он. — Вы человек ученый. Вот идите к отцу скитоначальнику нашему, отцу Феодосию, он — образованный.

Мне горько было слышать это: значит, я недостоин исповедаться у святого старца? Стал я защищать себя, что образованность наша не имеет важности. Но отец Нектарий твердо остался при своем и опять повторил совет — идти через дорожку налево к о. Феодосию. Спорить было бесполезно, и я с большой грустью простился со старцем и вышел в дверь.

Придя к скитоначальнику, я сообщил ему об отказе отца Нектария исповедовать меня и о совете старца идти за этим к образованному о. Феодосию.

— Ну, какой же я образованный?! — спокойно ответил он мне. — Кончил всего лишь второклассную школу. И какой я духовник?! Правда, когда у старцев много народа, принимаю иных и я. Да ведь что же я говорю им? Больше из книжек наших же старцев или из святых отцов, что-нибудь вычитаю оттуда и скажу.. Ну, а отец Нектарий — старец по благодати и от своего опыта.

Нет, уж вы идите к нему и скажите, что я благословляю его исповедать вас.

Я простился с ним и пошел опять в хибарку. Келейник с моих слов все доложил батюшке: и тот попросил меня к себе в келию.

— Ну, вот и хорошо, слава Богу! — сказал старец совершенно спокойно, точно он и не отказывался прежде. Послушание старшим в монастыре — обязательно и для старцев: и может быть, даже в первую очередь, как святое дело и как пример для других.

И началась исповедь... К сожалению, я теперь решительно не помню ничего о ней... Одно лишь осталось в душе, что после этого мы стали точно родными по душе. На память батюшка подарил мне маленькую иконочку из кипарисового дерева с выточенным внутри распятием.

Подошел праздник Успения Божией Матери. Накануне, часов около 11, ко мне приходит из монастыря благочинный отец Федот. Несколько полный, с проседью в темных волосах и бороде, спокойный, приветливый; он и с собою принес тишину. Помолившись и поздоровавшись со мною, он сначала справился о моем здоровье и самочувствии; потом порадовался — «какая ныне хорошая погода», — был тихий, безоблачный день. Я подумал: подход— как в миру, между светскими людьми... Жду дальше: напрасно монахи не ходят по келиям, — как писалось раньше. И действительно, отец благочинный скоро перешел к делу:

— Ваше высокопреподобие! Батюшка отец игумен просит вас сказать завтра, на поздней литургии, поучение...

Это предложение было для меня совершенно неожиданным: я в миру довольно много говорил проповедей, речей, уроков. И устал духовно от многоглаголания; потому, живя в монастыре, хотел уже отдохнуть от учительства в тишине, одиночестве и молчании. И в самом деле отдыхал. И вдруг — проповедуй и здесь?

— Нет, нет! — запротестовала моя душа. — Не могу, батюшка!

И начался между нами долгий спор.

— Почему же, Ваше высокопреподобие?!

— Ну чему я буду учить вас в монастыре?! Вы — истинные монахи; а живя в миру, какие мы монахи? Нет, и не просите напрасно.

Но отца благочинного нелегко оказалось заставить отказаться от данного ему игуменом поручения:

— А как же вон у нас жили другие ученые монахи, — стал он перечислять их имена, — и проповедовали?

— Это не мое дело, — отстранял я его возражение. — Я про себя говорю, что не могу учить вас, монахов. Да и что особого я могу вам сказать? У вас на службах читаются, по уставу, и жития святых из Пролога и поучения из творений святых отцов. Что же лучше?

— Так-то так; но и живое устное слово полезно нам послушать, — настаивал о. Федот.

— Святые отцы — всегда живые, — возражал я, — нет уж, батюшка, не просите! Мне трудно это. Так и объясните отцу игумену.

— Да ведь о. игумен и благословил меня просить вас проповедовать.

Видя, что никакие уговоры не действуют на посланца, я вспомнил о старце Нектарии. «Вот кто может выручить из неожиданной беды, — думалось мне, — я у него исповедался, он знает мою грешную душу и скорее поймет мой отказ по сознанию моего недостоинства, а слово старца — сильно в обители».

— Я спрошу у батюшки, о. Нектария, — сказал я.

— Хорошо, хорошо! — согласился сразу о. Федот.

И с этими словами он начал прощаться со мной. Да было и время: в монастыре зазвонил небольшой колокол к обеду. Благочинный ушел, а я направился к «хибарке» старца. В знакомой мне приемной никого не было. На мой стук вышел из келии о. Мелхиседек: маленького роста, в обычной мягкой камилавке, с редкой молодою бородою, с ласковым лицом.

Я объяснил ему наше дело и добавил:

— Мне нет даже нужды беспокоить самого батюшку, он занят другими. Вы только спросите у него совета. И скажите ему, что я прошу его благословить меня не проповедовать.

И я верил в такой ответ старца: мне казалось, что я хорошо поступаю, смиренно. Келейник, выслушав меня, ушел за дверь. И почти тотчас же возвратился:

— Батюшка просит вас зайти к нему.

Вхожу. Целуем друг у друга руки. Он предложил мне сесть и, не расспрашивая больше ни о чем, сказал следующие слова, которые врезались мне в память до смерти:

— Батюшка, — обратился он ко мне тихо, но чрезвычайно твердо, авторитетно, — примите совет на всю

вашу жизнь: если начальники или старшие вам предложат что-нибудь, то как бы трудно или даже как бы высоко ни казалось это вам, — не отказывайтесь. Бог за послушание поможет!

Затем он обратился к окну и, указывая на природу, сказал:

— Смотрите, какая красота: солнце, небо, звезды, деревья, цветы... А ведь прежде ничего не было! Ничего! — медленно повторил батюшка, протягивая рукою слева направо. — И Бог из ничего сотворил такую красоту. Так и человек: когда он искренно придет в сознание, что он — ничто, тогда Бог начнет творить из него великое.

Я стал плакать. Потом о. Нектарий заповедовал мне так молиться: «Господи, даруй мне благодать Твою!» — И вот идет на вас туча, а вы молитесь: «Дай мне благодать!» И Господь пронесет тучу мимо». И он протянул рукой слева направо. О. Нектарий, продолжая свою речь, рассказал мне почему-то историю из жизни Патриарха Никона, когда он, осужденный, жил в ссылке и оплакивал себя. Теперь уж я не помню этих подробностей о Патриархе Никоне, но «совет на всю жизнь» стараюсь исполнять. И теперь слушаюсь велений Высшей Церковной власти. И, слава Богу, никогда в этом не раскаивался. А когда делал что-либо по своему желанию, всегда потом приходилось страдать.

...Вопрос о проповеди был решен: нужно слушать о. игумена и завтра — говорить. Я успокоился и ушел. Обычно для меня вопрос о предмете и изложении поучения не представлял затруднений; но на этот раз я не мог подыскать нужной темы до самого всенощного бдения. И уже к концу чтения канона на утрени в моем уме и сердце остановились слова, обращенные к Богородице: «Сродства Твоего не забуди, Владичице!» Мы, люди, сродники Ей по плоти. Она — из нашего человеческого рода. И хотя Она стала Матерью Сына Божия, Богородицею, но мы, как Ее родственники, все же остались Ей близкими. А потому смеем надеяться на Ее защиту нас пред Богом, хотя бы были и бедными, грешными родственниками Ее... И мысли потекли, потекли струей... Вспомнился и пример из жития св. Тихона Задонского о грешном настоятеле этой обители, как он был помилован и даже воскрешен Господом: «За молитвы Моей Матери возвращается в жизнь на покаяние», —

послышался ему голос Спасителя, когда душа его спускалась на землю. А настоятель этот, будучи по временам одержим нетрезвостью, имел обычай в прочие дни читать акафист Божией Матери.

В день Успения я отслужил раннюю в другом храме... И вдруг во мне загорелось желание сказать поучение и тут. Но так как это было бы самоволием, я воздержался.

Какие лукавые бывают искушения!

На поздней литургии я сказал приготовленную проповедь. Она была, действительно, удачною. В храме кроме монахов было много и богомольцев-мирян. Все слушали с глубоким вниманием.

По окончании службы я спускался по ступенькам паперти. Вдруг ко мне спешно подбежали те два монаха, которых я осудил в душе, и при всем народе радостно поклонились в ноги, благодаря за проповедь... К сожалению, я не запомнил их святых имен: а они заслуживали бы этого за смирение свое.

Но на этом «слава» моя не кончалась. Когда я возвратился в скит, меня на крылечке нашего домика встретил преподобный о. Кукша:

— Вот, хорошо сказали, хорошо! Вот был у нас в Калуге архиерей Макарий: тоже хорошо-о говорил проповеди!

Я промолчал. На этом разговор и кончился.

Через некоторое время из монастыря пришла уже целая группа послушников и стала просить меня:

— Батюшка, пойдемте погуляем в лесу и побеседуем: вы такую хорошую проповедь нам сказали.

«О-о! — подумал я про себя. — Уже учителем заделаться предлагают тебе? А вчера считал себя недостойным и говорить?! Нет, нет: уйди от искушения!» — И я отклонил просьбу пришедших.

Кстати: вообще монахам не дозволяется ходить по лесу, и лишь по праздникам разрешалось это, и то — группами для утешения. Но этим пользовались лишь единицы; а другие сидели по келиям, согласно заповеди древних отцов: «Сиди в келии, и келия спасет тебя».

На следующий день мне нужно было выезжать из монастыря на службу в Тверскую семинарию; и я пошел проститься сначала с о. Нектарием. Встретив меня, он с тихим одобрением сказал:

— Видите, батюшка: послушались, и Бог дал вам благодать произнести хорошее слово.

Очевидно, кто-то ему уже об этом сообщил, так как старец не ходил в монастырь.

— Ради Бога, — ответил я, — не хвалите хоть вы меня, бес тщеславия меня уже и без того мучает второй день.

Старец понял это и немедленно замолчал. Мы простились.

От него я пошел через дорожку к скитоначальнику о. Феодосию. Тот спросил меня, как я себя чувствую, с каким настроением отъезжаю.

Я искренно поблагодарил за все то прекрасное, что я видел и пережил здесь. Но добавил:

— А на сердце моем осталось тяжелое чувство своего недостоинства.

Мне казалось, что я говорил искренно и сказал неплохо, а сознание недостоинства мне представлялось смирением. Но отец Феодосий посмотрел иначе:

— Как, как? — спросил он. — Повторите, повторите!

Я повторил. Он сделался серьезным и ответил:

— Это — не смирение. Ваше преподобие, это — искушение вражье, уныние. От нас, по милости Божией, уезжают с радостью; а вы — с тяготею? Нет, это — неладно, неладно. Враг хочет испортить плоды вашего пребывания здесь. Отгоните его. И благодарите Бога. Поезжайте с миром. Благодать Божия да будет с вами.

Я простился. На душе стало мирно.

Какие вы духовно опытные! А мы, так называемые «ученые монахи», в самих себе не можем разобраться правильно... Не напрасно и народ наш идет не к нам, а к ним... «простецам», но мудрым и обученным благодатью Духа Святаго. И апостолы были из рыбаков, а покорили весь мир и победили «ученых». Истинно говорится в акафисте: «Вития многовещанные», — т. е. ученые ораторы, — «видим яко рыбы безгласные», по сравнению с христианской проповедью этих рыбаков.

И теперь «ученость» наша была посрамлена еще раз.

Когда я приехал на вокзал в Козельск, то в ожидании поезда я сидел за столом. Против меня оказался какой-то низенький крестьянин, с остренькой бородкой. После короткого молчания он обратился ко мне довольно серьезно:

— Отец, ты, что ли, вчера говорил проповедь в монастыре?

— Да, я.

— Спаси тебя, Господи! А знаешь, я ведь думал. что благодать-то от вас, ученых, совсем улетела?

— Почему так?

— Да, видишь: я безбожником одно время стал; а мучился. И начал я к вам, ученым, обращаться: говорил я с архиереями — не помогли. А вот потом пришел сюда, и эти простецы обратили меня на путь. Спаси их, Господи! Но вот вижу, что и в вас, ученых, есть еще живой дух, как Сам Спаситель сказал: «Дух дышит, идеже хощет» (Ин. 3,8).

Скоро подошел поезд. В вагон второго класса передо мной поднялись по ступенькам две интеллигентные женщины. За ними вошел и я. Они очень деликатно обратились ко мне со словами благодарности за вчерашнее слово. Оказалось, это были две дворянки, приезжавшие издалека на богомолье в Оптину и слышавшие мою проповедь. И думается, что эти «ученые» — не хуже, — а даже лучше, смиреннее, чем бывший безбожник... Да, воистину дух Божий не смотрит ни на ученость, ни на «простоту», ни на богатство, ни на бедность, а только на сердце человеческое, и если оно пригодно, то Он там живет и дышит...

Началась революция. И вот какое предание дошло до меня за границей. Отец Нектарий будто бы встретил пришедших с детскими игрушками и с электрическим фонариком, совершенно спокойный. И перед ними он то зажигал, то прекращал свет фонаря. Удивленные таким поведением глубокого старца, а может быть, и ожидавшие какого обличения за свое безобразие от «святого», молодые люди сразу же от обычного им гнева перешли в благодушно-веселое настроение и сказали:

— Что ты? Ребенок, что ли?

— Я — ребенок, — загадочно-спокойно ответил старец.

Если это было действительно так, то стоит серьезно задуматься над смыслом поведения его и загадочным словом о «ребенке».

А ребенком он мог назвать себя, поскольку идеальный христианин становится действительно подобным дитяти по духу. Сам Господь сказал ученикам при благословении детей:

«Если не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мк. 10,15).

ЗОСИМОВА ПУСТЫНЬ

Это было в 1910 г. Посетить Зосимову пустынь побудило желание разрешить один душевный вопрос, который беспокоил меня долгое время. Для этого нужно было посоветоваться с лицом опытным и духовно-тонким. Таким мне показался, со слов знавших его лично, настоятель Зосимовой пустыни, о. Герман. И я выехал к нему через Москву. Из Москвы нужно было ехать по железной дороге несколько десятков верст на север, мимо Сергиевой Лавры. Крошечная станция Лесики. Кругом было сплошное чернолесье. Ни деревни, ни иного какого человеческого жилья. Действительно — пустыня лесная. Но до монастыря нужно было еще пройти пешком около 4 или 5 верст по узкой лесной дороге. День был хороший, августовский. В лесу тихо. Через час пути в просвете между деревьями я увидел обитель. Она была еще новая, храмы и дома казались свежими по краскам. Архитектура была красивая.

Дорога подвела меня к монастырской гостинице, построенной для богомольцев вне обители. Заведующий ею был иеромонах Иннокентий. Года два назад он был еще жив. Тогда ему было лет около 35—40. Острое лицо; остренькая черная бородка; серьезный взгляд. Он отвел мне в гостинице маленькую чистенькую комнатку.

Скоро я направился к настоятелю. Я ранее слышал, что к нему обращаются с духовными вопросами и монашествующие из близкой Московской Духовной Академии, и писатели светские, и великая княгиня Елизавета Федоровна. Следовательно, по одному этому можно было заранее видеть в старце незаурядного подвижника и духовного руководителя. Известна мне была и небольшая брошюра, в которой была издана переписка его с знаменитым затворником Вышенским, Епископом Феофаном. Там затрагивались, главным образом, вопросы о молитве. Но мне особенно запомнилось одно письмо еп. Феофана о бесах. Отец Герман просил Затворника подарить ему на память какую-либо одежду свою. Епископ Феофан отклонил просьбу. И между прочим, мотивировал это тем, что с одеждой его в келию о. Германа налетит много бесов и искушений.

Вспоминается и ответ о духовничестве. Батюшке, до настоятельства, было дано послушание исповедовать монахов и богомольцев. Оно казалось ему трудным и опас-

ным для него самого, почему он просил настоятеля снять с него этот крест; но ему отказывали. Тогда он обратился с вопросом к Вышенскому Затворнику. И между прочим сообщал, что иные приходят к нему исповедоваться с одними и теми же грехами многократно; как быть с такими?

Епископ Феофан, — насколько помню, — ответил ему, чтобы никогда не отказывал и таким в исповеди, и сам не расстраивался их немощами, а также советовал ему разрешать грехи с милосердием, сколько бы раз такие ни приходили. Одно лишь строго заповедовал старцу Затворник: никому не давать и намеков о том, в каких именно грехах каются приходящие.

«Для этого положите около места исповеди нож, да поострее, и, посматривая на него, думайте: лучше отрезать себе язык, чем объявить чью-либо тайну духовную».

Вот к какому человеку шел я теперь. Увидевши его, я сразу сделался серьезным и строгим, каким показался мне и о. Герман. Высокого роста, с седою малорасчесанною бородою, с дряблеющим старческим лицом, с опущенными на глаза веками, с холодно спокойно-строгим голосом, как у судьи, без малейшей улыбки — он произвел на меня строгое впечатление. Мы познакомились. Среди вопросов он задал и такой: «Что вы будете преподавать в академии?» Я начал с более невинного предмета: «Гомилетику» (учение о проповедничестве).

— А еще? — точно следователь на допросе спрашивал он.

Я уже затруднялся ответить сразу.

— Пастырское богословие, — говорю. А самому стыдно стало, что я взял на себя такой предмет, как учить студентов быть хорошими пастырями.

— А еще? — точно он провидел и третий предмет.

Я уже совсем замялся.

— Аскетику, — тихо проговорил я, опустивши глаза...

— Аскетику... Науку о духовной жизни... Легко сказать! Я, духовный младенец, приехавший сюда за разрешением собственной запутанности, учу других, как правильно жить... Стыдно было.

После мой духовный отец в Петрограде, когда я рассказывал все это в деталях, сказал мне: «Вы уж лучше умолчали бы об этом предмете».

Потом я открыл о. Герману свою душу со всеми ее недостатками и задал тревожащий меня вопрос. Мое откровение он выслушал с тем же холодно-спокойным вниманием, как и все прочее. На вопрос дал нужный ответ, удовлетворивший меня. В конце беседы я сказал ему:

— Батюшка! Мы, грешные люди, и так вообще не заслуживаем сочувствия, но когда вот так расскажем о своих грехах, вы, вероятно, и совсем перестанете любить нас?

— Нет! — все тем же спокойным и ровным, бесстрастным голосом ответил о. Герман. — Мы, духовники, больше начинаем любить тех, кто обнажает перед нами свои духовные язвы.

Потом я попросил его назначить мне какое-нибудь послушание в монастыре, о чем речь далее.

Кстати, с самого входа в его комнату я заметил высокий мольберт и на нем большую незаконченную икону Божией Матери; оказывается, батюшка был еще и хорошим иконописцем.

Уходя от него, я уносил впечатление, что он — строгий. Это, впрочем, не удивляло меня и не разочаровывало: из святоотеческой литературы я давно знал, что и святые люди бывают индивидуальны, одни — ласковы, другие — суровы, одни — гостеприимны, другие — чуждаются встреч, одни молчаливы, другие — приветливые собеседники. А перед очами Божиими все они могут быть угодниками. Впрочем, об о. Германе от других лиц мне не раз приходилось потом слышать, что с ними он был весьма ласков... Может быть, лично для меня он принимал такой строгий тон, как спасительный мне?.. Нет, думается, он по природе был действительно серьезным и строгим вообще.

Грибное послушание

Как только что было упомянуто, перед уходом я обратился к нему с просьбой:

— Батюшка! Не дадите ли вы мне какое-нибудь послушание, чтобы я до отъезда поработал в монастыре?

Мне тогда припомнилось, что один из товарищей по академии вот так же попросил в Валаамском монастыре послушания, и его отправили на скотный двор доить коров. Вот думалось теперь: и мне дадут сейчас какую-нибудь грязную и тяжелую работу, и я... смирюсь, приму

и исполню ее. Но старец оказался проницательнее меня:

— Какое же дать послушание? Уж лучше отдыхайте. Ну, вот разве грибов пособираете на монастырь?

— Хорошо, — ответил я, недовольный, однако, что не удостоился «грязного» послушания.

Но прошел день, прошел другой, а я и не думал о грибах. Потом как-то раза два-три сходил в лес, набрал немного и отдал их на кухню. Думаю, что о. Герман и забыл о таком пустяке. Но перед отъездом при прощании он неожиданно задает мне вопрос:

— А послушание-то грибное исполняли?

— Плохо, — ответил я в смущении.

Батюшка ничего не сказал, но я сам почувствовал, что и тут я не оказался твердым.

Однажды, собирая грибы, я запоздал на обед. Пришел в трапезную, когда все столы были вычищены. Трапезный послушник, брат Иван, — он же нес и послушание церковника в храме, — молча, с скромной улыбкой, поставил мне пищу. Это был молодой человек, с красивым родовитым лицом... Во время моего обеда монастырские певчие делали в трапезной спевку к празднику. И так мне все казалось прекрасным: и пели хорошо, и грибов я набрал, и брат Иван — такой хороший. И я както сказал о. Герману:

— Какой хороший брат Иван!

— Это у вас — душевное, а не духовное чувство к нему, — точно холодной водою облил меня старец.

Я замолчал и думал: как духовные люди осторожно разбираются во всем, даже — и в «хорошем». Они правы: в нас много бывает всякой смеси; особенно же — в начале опыта. Я снова получил печальный урок. Но самое печальное было еще впереди, к концу.

Этот новый урок был связан с прибытием сюда в монастырь Елизаветы Федоровны и ее сестер монахинь Марфо-Мариинской обители в Москве. Ввиду наезда их нужно было освободить для них несколько номеров монастырской гостиницы. И некоторым из богомольцев предложено было переселиться внутрь монастыря. Среди них и я получил какую-то маленькую запущенную келейку, в которой давно никто не жил. Но скоро началась всенощная; и я, по обычаю, стал на клирос с певчими.

Службы в монастыре совершались необыкновенно медленно. Мне еще нигде не приходилось наблюдать такой растянутости: и ектений, и пения. Вероятно, настоятелю поче-

му-то нужно было это — не хочу судить его. Но мне такая тягучесть была просто нудна, мучительна. И я стал ускорять темп пения: за мной потянулись и певчие.

Мелькало у меня и желание подкрасить этим богослужение еще «ради княгини».

Но через несколько минут из алтаря, где стоял на этот раз и настоятель, вышел тот самый брат Иван, о котором упоминалось раньше, и, подойдя к регенту хора, сказал:

— Батюшка,— т. е. о. Герман, — благословил петь реже...

Я понял, что вина тут моя, и немного сократился. Но оказалось — не вполне. Через некоторое время брат Иван во второй раз передал то же распоряжение о. игумена. Стали петь еще пореже. Но батюшка и этим не удовлетворился: «Пойте, как всегда!» — передал он регенту строго через брата Ивана. И хор возвратился к обычной тягучести. Служба шла от 6 часов до 11 ночи. Все разошлись после по своим местам.

Я пришел в свою запущенную келейку. Лег спать. Но это оказалось совершенно невозможным: мириады оголодавших блох ожесточенно бросились на меня. Никакие усилия заснуть не помогали. Так я промучился часов до пяти утра, когда уже начинало рассветать. Наконец, утомленный, я задремал. Но не прошло, вероятно, и часу, как в дверь моей временной келии раздался стук с обыкновенной монашеской молитвой: «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас!» Я немедленно проснулся и ответил: «Аминь».

Наскоро накинув подрясник, отворил дверь; и какой-то послушник спокойно сказал: «Батюшка, — т. е. игумен, — просит вас прийти к нему» — и ушел. Через несколько минут я был в кабинете старца. Пригласив меня сесть, он стал собирать пришедшую почту. А зрение у него было уже плохое.

— Это письмо кому? — спросил он, подавая мне прочитать адрес.

— Отцу... (такому-то).

— А это?

— Это — отцу (другому)...

— Вы уж к нам больше на клирос не становитесь! — вдруг заявил он мне все так же ровным голосом, как и с адресами. Я понял, что этот урок мне за

вчерашнее ускорение пения. А он в объяснение своего приказа добавил:

— Ваши напевы к нашим не подходят.

Не напевы, а темп мой действительно не подходил к их тягучести... Мне, разумеется, ничего не оставалось делать, как молча согласиться, в чужой монастырь со своим уставом не ходят, — говорит пословица. Игумен был прав.

После этого он отпустил меня в мою блошиную келию. Но уходя, я чувствовал необыкновенную душевную боль от этой «обиды». Хотя игумен был обязан сделать, чтобы посторонний человек не разрушал установленного порядка, но это правильное соображение не могло умирить мое взбаломученное сердце. Наоборот, боль все возрастала и усиливалась. Я мог бы теперь и заснуть после бессонной ночи, но было уже не до сна. Душа горела от горечи «обиды». Не помню, пошел ли я уже на литургию или было не до молитвы, но я стал настолько мучиться, что нужно было принимать какие-то меры к облегчению страданий. И тут мне вспомнился совет, который я вычитал где-то у Толстого: во время гнева должно заняться какой-то тяжкой физической работой. Что мне делать? Грибы собирать? Это — легкое дело. Дрова рубить у кухни? Монахи обратят внимание и смутятся. Что еще?.. И я решил замучить себя ходьбой по оврагам, по чащам... Так и сделал... Прошел час, больше... Я уже взмок от пота... Но ничто не помогало: боль не унималась. Сердце щемило: как «он» не пожалел меня? Ведь я — даже не простой монах, а будущий «профессор» академии! Да и почему бы ему не потерпеть меня? Осталось день или два жить. Да и пение уже возвратилось к обычной медлительности...

Старался и повторять молитву Иисусову; и это не помогало залить огонь самолюбивого раздражения.

А назавтра — в воскресенье — он уже благословил меня сослужить ему на литургии: как же я буду служить с таким озлоблением против него? Один грех будет!

И метался так я несколько часов. Но наконец пришла мне мысль: «Необходимо обратиться к таинству исповеди!» Однако и к исповеди следует идти, примирившись сначала? Значит, я должен попросить у него же еще и прощения?.. Ах, как все это — трудно, трудно!

А тут вспомнился мне и другой инок, против которого у меня уже несколько дней зародилось раздражение:

он мне казался святошей, любителем учить и наставлять, самомнительным старцем и т. д. Значит, и у этого нужно просить прощения?.. А исповедником в монастыре был известный старец о. Алексий. Он назывался затворником, потому что большую часть недели проводил в одиночестве, но в среду (если верно помню) и субботу исповедовал приходивших; к этому затворнику, собственно, и приезжала великая княгиня с сестрами на исповедь. После мне приходилось слышать, как и княгиня говорила одному лицу, что о. Герман — «строгий и суровый». А о. Алексий был много проще и мягче. Сам он прежде был одним из протоиереев при Успенском Кремлевском соборе. Потом, овдовев, ушел в затвор в Зосимовскую пустынь, отдав себя в послушание о. Герману. Тут ему было дано послушание исповедовать. Впоследствии, через 7 лет, он был участником в Московском Поместном Соборе: и ему именно было благословлено вынимать жребий одного из кандидатов в патриархи. Помню (я тоже был членом Собора), как он, широко осенив себя трижды крестным знамением, опустил руку в ящичек и передал записку митрополиту Владимиру.

— Митрополит Тихон, — громко прочитал тот имя избранного в патриархи.

Вспомню кстати, что он, после революции, советовал приходившим слушаться Высшую Церковную власть, заповедавшую (хотя и не сразу) признать новую власть.

Вот к нему я и должен был идти на исповедь. Вопрос у меня был лишь в том, нужно ли у обоих «нелюбимых» монахов просить прощения, или же лишь у отца Германа? Ломая свою волю, я уже готов был пойти к обоим. Но потом усумнился в благоразумности «мириться» с другим иноком, когда у нас с ним не было никакого столкновения и он даже не подозревает, что таилось в моей дурной душе. Обдумав, я предрешил: пока не смущать того напрасно, а если отец Алексий благословит, то потом попрошу прощения и у него. А теперь, перед исповедью, пойду лишь к о. Герману.

Обычно по будням он становился в самом конце храма, на правой стороне, среди других иноков. И как сейчас вижу его: высокий, прямой, с закрытыми глазами, он неподвижно стоял, как столп; и точно не замечал никого и ничего, углубившись во внутреннюю молитву. Вероятно, он беспрестанно творил молитву Иисусову. Несомненно, он был высоким молитвенником, исключительным.

Но под праздник о. Герман стоял в алтаре. К нему я и направился перед исповедью.

Поклонившись, по обычаю, в ноги, я сказал:

— Благословите, батюшка, исповедаться у о. Алексия!

— Бог благословит! — бесстрастно, как всегда, ответил он.

— Батюшка! Простите меня!

— Бог простит, — сказал он, точно и не помышляя об утреннем уроке.

— Но у меня против вас, — говорю я, — есть особенное огорчение.

— Какое? — все так же спокойно продолжал он.

— Утром вы строго обошлись со мною.

Отец Герман не стал оправдываться, а кратко сказал следующее:

— Простите меня! Я от природы — человек гордый.

Так именно и сказал: не твердый, не «строгий» или «суровый», а — «гордый».

...Но мне уже не требовалось теперь объяснений и извинений: как только я поклонился и сказал это дивное слово «простите», из моей души исчезла решительно всякая злоба, мука, а водворилась полная тишина! Совершилось известное всем нам чудо благодатного исцеления кающегося. Ни Толстой, ни утомление не помогли, а «простите» дало мир. И я спокойно пошел к затворнику. Рассказал и о грехах раздражения. Он одобрил мое покаяние перед игуменом, а к другому монаху тоже не посоветовал ходить, лишь бы в сердце покаяться на исповеди.

На другой день я с миром сослужил о. Герману.

Потом, намереваясь в понедельник уезжать, сходил к нему попрощаться. Беседа была недолгая, но мирная. В заключение он подарил мне два красных малых яблочка и еще что-то.

Теперь я стараюсь вспомнить: спал ли я две последних ночи? Кажется, да. Куда делись блохи, не знаю... Вероятно, внутренний мир преодолел их кусание...

Закончу главу эту последним актом о. Германа. Довольно рано утром я пешком направился к станции. А свой узелок бросил в возок, на котором должен был ехать игумен — провожать княгиню... Погода была тихая, но облачная... Чувствовалось уже приближение осени. На траве была, помнится, свежая роса... На душе было мирно...

Так прошел с полпути. Слышу, сзади тарахтит возок. Оглянулся: впереди — кучер-монах, а сзади игумен с приставом, тоже ехавшим провожать княгиню. Поравнявшись со мною, о. Герман велел остановиться. Потом молча, без слов, коснулся рукой до плеча офицера; и без слов же указал ему на козлы, чтобы он туда пересел. А меня батюшка посадил рядом с собою. Лошадь тронулась опять. Едем. А о. Герман правою рукою обнял меня и ласково поглаживает по спине. Молчим. А я про себя думаю:

— Да, вот два дня назад побил! А теперь ласкаешь? Лучше бы тогда не бил...

Но эти мысли были уже без яда злобы и раздражения.

За нами подъехала и княгиня с сестрами. Подошел поезд. И мы сели. Отец игумен стоял — как всегда бесстрастно. И даже кланяясь княгине, хранил свое обычное внутреннее спокойствие... Конечно, это был святой подвижник, хотя и сурового типа.

С того времени прошло целых 35 лет. Пронеслась революция... Потом вторая война с немцами... Я был в Москве на выборах Патриарха. И тогда встретил одного человека, бывшего монаха в Зосимовой. Он тоже считал батюшку святым. Но говорил о его ласковости и любви.

Обитель просуществовала, кажется, до 1923 года. Отец Герман еще окормлял ее. И предсказал:

— Пока я жив, обитель не тронут. А помру, придется вам всем разойтись.

Так и случилось: буквально в день его погребения монастырь был закрыт. Иноки разошлись — кто куда.

Что будет дальше — Бог весть...

1956—13/XII

ОТЕЦ ДИОНИСИЙ

Родился он в 1854 г., 1 ноября, в день св. Косьмы и Дамиана, в селе Белицком, что на речке Чопке, на границе Таврической и Екатеринославской губерний. Отец его был крестьянин Вукол Иванович Чудновец; мать — Мария; дети — Симеон, Даниил, Дамиан — таково было прежнее имя о. Дионисия, — Мария, Марина и Никифор. Семья была религиозная; ходили к утрене и пели. Дамиан рассказывает про себя, что он любил загляды-

вать в алтарь, чтобы посмотреть, как во время таинства пресуществления сходит на Дары — Дух Святый.

Пришел срок солдатской службы старшему брату Симеону — попросту Семену — но он был уже женат, а второй скончался, и Демьян пошел в солдаты за старшего брата. После службы его, в 1878 г., умерла мать, а в 1879 г. — отец. И Демьян в 1880 г. ушел в Бахчисарайский Успенский скит. Он был как бы в раздвинувшейся горе; восточная сторона была очень крутая, а западная — несколько отлогая. На первой, очень высоко, был городок, когда-то в нем жили караимы — секта евреев; при мне он был совершенно пуст. Жил только сторож этого места, у ворот крепостной ограды. Называется он «Чуфут-Кале».

А вот на противоположной подсолнечной стороне этого городка и находился в горе Успенский скит. Вверху был целый ряд пещер, в которых были и храм, и келии для монахов. Может быть, здесь и в древние христианские времена был монастырь, потому что весь Крымский полуостров принадлежал православным грекам. Но внизу лощин были построены деревянные домики. Средства на это дал известный во второй половине [века] церковный благотворитель С-в.

Сюда и прибыл Демьян. Игумен принял его охотно и отвел ему место в пещерах. Спокойно, — такой у него был характер всю жизнь, — принялся за монашеские послушания. Но вскоре он почувствовал резкие боли в ногах; в пещере было сыро и темно. Не вытерпел этого Демьян и спустился вниз к игумену, жалуясь на ревматизм в ногах и прося дать ему какой-нибудь уголок в деревянных домиках.

— Эх, брат Демьян, брат Демьян! Первое послушание тебе дано: и ты не вынес его!

Демьян стал ссылаться на болезнь, желая оправдать себя.

— Ну, что же?! Хотя бы и умер ты: был бы мучеником, — сказал ему игумен.

Тогда Демьян понял значение монашеского послушания и говорит:

— Ну, батюшка! Воротите меня опять в пещеру.

— Нет, теперь уже поздно. Переходи вниз!

— И с той поры, — говорил мне о. Дионисий, — я дал себе зарок: никогда ничего не просить, а только исполнять послушание.

В июле 1895 года он был пострижен в мантию, с

именем Дионисия, в память преподобного Дионисия, игумена Глушицкого (Вологодской епархии), празднуется 1 июня. Обыкновенно при пострижении переменяют мирское имя на другое, преимущественно иноческое, — но с сохранением заглавной буквы. И после пострига о. Дионисий был рукоположен во иеродиакона, которым прослужил 4 года. В 1899 г. хиротонисан в иеромонаха, а в 1914 г., 60 лет от роду, был назначен игуменом Бахчисарайского скита. Перед этим он был заведующим подворьем в городе Симферополе, от которого Бахчисарай находится в 30 верстах. Здесь он был духовником Епископа Таврического Феофана, чтившего его. У него же исповедовался и я, будучи тогда ректором Духовной Семинарии. Из этого времени мне вспоминается один случай. Как-то на исповеди я жаловался ему на скорби. Отец Дионисий спокойно сказал мне в ответ:

— Бог бы и не хотел давать нам скорбей, но беда наша в том, что без скорбей мы не умеем спасаться!

Потом я переведен был в Тверь, а епископ Феофан — в Астрахань, оттуда — в Полтаву. В это время произошло такое событие с ним. Епископ Феофан был человек очень слабого здоровья, и вынужден был поехать в теплый Крым. От Симферополя нужно было ехать до Ялты на извозчике. На пути он заехал на короткое время к о. Дионисию. И быстро отправился дальше. Правящий епископ Димитрий (Абашидзе), узнав об этом, рассердился на о. Дионисия, что тот не испросил на это его благословения, и, призвав батюшку к себе, обрушился на него с горячим выговором. Нужно сказать, что он родом был грузин, а они народ вспыльчивый, но отходчивый. После революции он ушел в Киевскую Лавру и постригся в схиму, с именем схиархиепископа Антония; и прославился на всю Россию как святой старец. Умер он в 1942 году.

Отец Дионисий без всяких оправданий упал ему в ноги:

— Простите меня, святый Владыка!

А тот все горячится. Отец Дионисий снова падает в ноги:

— Простите меня, святый Владыка!

И так до конца, пока сошла с него горячка, и в мире отпустил о. Дионисия. Говорят: епископ после каялся в этом. Но нам важно здесь — смиренное поведение батюшки.

В сентябре 1915 года он возведен был в сан архимандрита

Бахчисарайского монастыря. А в 1919 г. я был поставлен викарным епископом Севастопольским (архиепископ Димитрий ушел в Киев на покой), и мне явилось желание взять его в Севастопольский архиерейский дом заведующим и настоятелем Петропавловского храма. Новый архиепископ Никодим отпустил его. А о. Дионисий, по своему обету — «ничего не просить», — послушно согласился.

Из этого периода, в два года, я припоминаю о нем следующее.

Всегда смиренный, он был любим всеми. Лишь одна ненормальная женщина, низкого роста, после службы шла сзади него из храма до келии и все просила его взять ее к себе для сожительства. Но он, ничего ей не отвечая, шел спокойно к себе, пока не запер двери. Она уходила. Люди ничуть этому не удивлялись и нисколько не винили батюшку.

Я обычно говорил проповеди. Передавали мне после, будто он несколько печалился, что я хорошо говорю, но все о покаянии, тогда как следовало бы учить о любви Божией к людям, это он и после часто повторял.

Еще мне запал в душу рассказ его о каком-то монахе, который горько со слезами каялся в грехах своих. И вот, — это было под Пасху, — он облил слезами весь пол перед молитвенным углом, и вдруг он исчез, явился свет, и в нем — Господь Иисус Христос — сказал ему, чтобы монах не унывал, что Господь прощает его...

Нечто подобное я потом встретил в Житиях Святых у Димитрия Ростовского.

Больше ничего не помню, — к сожалению. А стоило бы записывать о нем... Это — особые люди... Уже одно воззрение его о любви Божией к людям говорит о необычайно духовной высоте его...

Подошла революция. Защитники Крыма эвакуировались за границу. Меня о. Дионисий не удерживал. Сам, конечно, остался. После, уже будучи в Париже, я встретился с одним человеком, который выехал из Севастополя позже нас. Расспрашивая его, я, между прочим, заговорил об о. Дионисии. Тот рассказал следующее.

Отец Архимандрит был арестован и заключен в тюрьму. Он перенес это совершенно спокойно. При допросе ему, между прочим, задали вопрос:

— Как ты смотришь на нашу власть?

— Как на наказание за грехи наши!

— А-а! За грехи? Наказание? Ну, вот тебе еще наказание: чисти в тюрьме все клозеты!

— Это легко. Только дайте побольше тряпочек.

И отец Дионисий спокойно чистил.

Через некоторое время его снова вызвали на допрос.

— Ну, а как теперь смотришь на нас?

— Не иначе, как на Божие нам наказание.

Его опять оставили в тюрьме. Потом, видя кротость старца Дионисия и полную безопасность его, освободили из тюрьмы. Он, верстах в 7 от Севастополя, поселился на каком-то хуторе, собрал к себе человек пять послушников и трудился с ними в разных работах... Но потом удалили их и оттуда...

Он уехал в родные места Таврической области.

Теперь я буду брать из записок духовных чад его, которые мне пришлось читать уже по возвращении из Америки на родину, в 1952 г., 19 февраля.

Там рассказывается, между прочим, о случае с ульем. У него был всего лишь один улей, с верхней стороны его было отверстие под стеклом, в которое о. Дионисий часто с любовью смотрел, как работают там пчелки. И вдруг этот улей пропал. Но потом открылось, что его украл некий Федор. Улей возвратили. Батюшка охотно простил вора. И после этого он говорил: «Если ты не прощал от всей души человека, тебя обидевшего, ты еще не знаешь настоящей радости».

Исцелял молитвами своими больных и бесноватых; и они выздоравливали. У него был огромный синодик, который он сам читал раздельно, не торопясь.

— Я, — говорил он, — явственно чувствую общение с загробным миром и ответные молитвы усопших.

Потом рассказывал, что в самую Пасхальную ночь у него было такое чувство, что «крыши над головой нет, а прямо — небо спустилось к нам».

Не любил похвал и иногда говорил жившим с ним монахам на хуторе:

— Вы-то ведь знаете, какой я грешник! И понимаете, какой вы этим делаете мне вред!

Когда отец Дионисий был выслан из Крыма на родину, он написал одной из духовных дочерей, которые глубоко чтили его, а потом — и служили ему:

«Только прошу, не надо скорбеть и волноваться, может быть, Господь делает для нашего спасения. Надо уповать, что все делается по Его святой воле. Молись, не

унывай. Да хранит тебя Господь и Матерь Божия и Ангел Хранитель: будь радостна. Церкви не оставляй, пением одушевляйся. А что ты поешь песнь Господу, подобно херувиму, этим не возносись о своем даровании, чтобы не удалился от тебя Господь, и не погубила ты красоты души своей гордостью; но в смирении услаждайся с Господом и день, и ночь, да с Ним будет твое дыхание и жизнь. Сколько благодатного и радостного с нами сотворил Господь; но мы неблагодарны остаемся Твоей благости. Сам, Господи, просвети и озари нас светом Твоего благоразумия и соедини нас с Тобой в сей и будущей жизни, чтобы мы лицезрели и славили Тебя, Создатель наш. Сего желает душа моя тебе, дорогая В. Н-на, за твою искреннюю любовь, которую ты всегда оказывала мне, грешному. Благословен Бог и милостив: да пребудет Он с тобою.

Твой духовный отец *Арх. Дионисий*».

Нам же вдвоем с Олей Батюшка писал:

«Христос посреди нас, дорогие сестрички В. Н. и О. И.! Мир вам! Радуюсь и благодарю Господа, что Он не оставляет нас Своею благодатию, милует и прощает нас, грешников, к Нему прибегающих в покаянии, и питает нас Своим Телом и Кровью, хвалите и благодарите Господа, создавшего вас так благодатно, по образу и подобию, для вечного блаженства с Господом Иисусом Христом, Который возлюбил нас Божественною любовью, даже до смерти крестной. Возлюбите и вы своего Жениха Иисуса Христа: Он ожидает вашей любви, вашей веры, вашей преданности и упования на Его милость и благодать. В Нем — наша жизнь, радость и спасение. Возлюбите друг друга: старайтесь избегать греха, который омрачает ум, оскверняет душу и сердце, наводит печаль и уныние. Стяжите смирение по образу Божию. И Он вознесет вас. В устах и сердце да будет молитва непрестанно: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешную! После занятий на службе спешите в свою келию, ограждая себя крестным знаменем. Приветствуйте друг друга любовию и о Христе лобзанием. Дома отдыхайте телом и душою. Друг другу старайтесь услужить любовию и сердечно: Господь примет это Себе».

Еще письмо:

«Дорогая В. Н-на, оставь все земное, мрачное; вспом-

ни благодатные минуты, когда ты в страстные дни пела о Божией Любви и о страдании за нас, грешных, нашего Господа. Как умилялась твоя душа горячею любовью и сожалением, что мы причинили ему своими грехами позорную смерть. Это Дух Святый за Его страдания наполнял твою душу. Не забудь тех минут святых! И постарайся — смирением, молитвою, терпением — преуспевать, укрепляемая благодатию Божиею. Люби дорогую сестру О. И-ну. Господь соединил вас во спасение. Не думай, что это само собой получилось. Будь примером христианской любви и жизни».

В другом письме Батюшка писал:

«Только не похвалю, что ты унываешь. Если ты сознаешь свою немощь и можешь укрепиться в высоких добродетелях — простоте сердца, в смирении, простоте и любви к ближним: то и тогда благодари Господа, что Он, Благий, терпит наши согрешения и не оставляет нас Своею благодатию. Господь пришел грешников спасти: и все верующие и уповающие на Господа — спасутся Его божественною благодатию и силою, — а не своими мнимыми подвигами и заслугами. Поэтому смиримся пред Господом, покоримся Его святой воле и будем переносить все с терпением и — не унывать; потому что уныние есть величайший грех перед Богом».

И еще: «Проповедей о. Архимандрит никогда не говорил... Но всегда Батюшка старался нам внушить, чтобы мы непрестанно помнили: как Господь нас любит! Ты и представить себе этого не можешь. Но всегда это помни».

Еще говорил: «Если будешь всегда при церкви, то всегда буду любить тебя, и никогда не будешь одинока».

Если же я жаловалась, что кто-нибудь меня не любит, то всегда получала от него ответ:

«О чем нам хлопотать? Лишь бы ты любила!»

Рассуждая о будущем, о своей судьбе, Батюшка обычно прерывал веселым голосом:

— О чем нам толковать? Что Бог даст, то и будет.

В скорбных обстоятельствах, во всех лишениях мы спрашивали его: как это он всегда спокоен? А он в ответ:

— Мне что? Я — монах! Значит, я всего себя отдал в волю Божию. Я так люблю Бога, что если бы Он и в ад послал меня, пойду с радостью исполнить волю Его!

Нам же говорил: «Я вас так люблю, сестры, то что бы вы ни сделали, я все равно буду любить вас».

В записках его духовных дочерей так описывается конец его жизни:

«В 1930 г., в Великом посту, он заболел тяжелой, мучительной болезнью печени; и очень страдал. Никому из нас не разрешал ухаживать за ним, не желал показывать своих страданий, хотел в одиночестве приготовиться к смерти.

В эту же болезнь Батюшка принял схиму.

Но к Страстям Христовым он мог уже выходить в церковь.

В эту весну, после Троицы, всем монахам, в том числе и архимандриту, было предложено уехать из Симферополя. Батюшка был спокоен, но руки дрожали; и вообще он торопился: признак внутреннего волнения. Переехал он недалеко. Но надо было уезжать и оттуда. Он уже не знал: куда себя деть?

И вдруг неожиданно приезжает наш бывший регент, отец иеродиакон Иннокентий, и говорит, что ему в его деревне Петропавловской, около г. Мелитополя, на утренней молитве пришла мысль: непременно ехать к отцу Архимандриту и взять его к себе... И он его увез. В этой деревне он пробыл еще почти два года.

Осенью 1931 г. ему удалось выполнить свою мечту: побывать в Бахчисарайском монастыре и на монастырском хуторе «Анастасии». Но Батюшка стал печален.

Весною 1932 г., в неделю Жен Мироносец, Батюшка сходил с детьми на речку и полежал там на берегу. Вернулся оттуда усталый, ушел в дом, не поужинав. Слышно было, как он там пел: «Ангел вопияше Благодатней». А наутро нашли его лежащим без движения на дворе. С ним был удар одной стороны, но говорить он еще мог, хотя с некоторым трудом. В утешение о. Иннокентию он говорил, что у него ничего не болит и что «так легко умирать!» На третий день, 3/16 мая, он тихо скончался. Перед смертью Батюшка был пособорован и причастился.

На погребении присутствовало семь священников. Похоронили его в ограде. Возглавлял службу благочинный отец Дамиан. Какое совпадение имен: в день рождения Батюшка был назван Дамианом, а теперь святые Косьма и Дамиан прислали своего соименника проводить его в жизнь вечную.

Отец благочинный сказал прощальное слово на 118 псалом, ст. 54: «Пета бяху мне оправдания Твоя, на месте пришельствия моего». По русскому переводу это по-

нятнее: «Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих!» — т. е.: «Заповеди Твои, Господи, были песнями моими на местах странствований моих на земле».

Вечная тебе память!

Дополнение

После того как я написал это житие о. Дионисия, мне одно лицо, — не знаю почему, — прислало пять тетрадей о «Современных подвижниках». И там я нашел заметку и о нем.

Перепишу сюда выдержки, как они записаны.

Однажды недавно попавшая к нему под руководство девушка исповедовала все свои грехи. Целый свиток был исписан грехами. И она со страхом и стыдом читала ему их. По окончании исповеди девушка от стыда не смела взглянуть на старца.

К ее удивлению, отец Дионисий после исповеди стал весело ходить по комнате, напевая что-то. Заметив ее изумление, старец сказал:

— Когда человек искренне кается, то благодать, получаемая им, переходит и священнику.

После беседы с ней батюшка разрезал арбуз, он оказался невкусным. Но о. Дионисий, вкусив, стал хвалить его: «Вот арбуз! Ну и арбуз! Никогда такого не ел!» Дал и ей вкусить. Старец провидел усердие этой сестры и хвалил арбуз.

Летом архимандрит Дионисий жил на хуторе, принадлежавшем Херсонской обители, находившемся в нескольких километрах от С. Зная вред праздности и желая предохранить своих чад от дурных помыслов, старец отправил их с хутора домой и нагрузил их овощами и фруктами в таком количестве, что еле несли это: трудящемуся не придут в голову помыслы, — не до них! Приходится об одном думать: как бы скорее донести тяжесть.

Однажды сестра, нарушив заповедь блаженства, сказала в унынии старцу:

— Батюшка! Я не люблю Бога: нарушаю заповеди Его. А кто любит Бога, заповеди Его исполняет.

Старец быстро вскочил с места, где сидел, и очень расстроился:

— Таких слов говорить нельзя! Бога мы любим. Но как

не достигшие совершенства, нарушаем заповеди по немощи!

Идешь, бывало, к старцу, — буря помыслов. Войдешь в его комнату — все исчезло, тишина на душе: так бесы, насылающие эти помыслы, боялись старца, не смея даже войти к нему.

Душа отца Дионисия была необыкновенно тонкая, нежная, чуткая.

Любимые темы его проповедей были: любовь, смирение, кротость.

Духовная дочь старца за веру во Христа была посажена в темницу. Там она видела следующий сон. В церкви из алтаря вышел о. Дионисий. Она подошла к нему и опустилась на колени. Старец возвратился в алтарь и вынес оттуда громадный цветок розы на длинном стебле... И дал его ей со словами: «Гляди на эту красоту, помни о вечной красоте».

Умирала мать этой девушки. Вместе с нею, видя ее страдания, страдала и дочь. Во сне она увидела отца Дионисия: и он, желая утешить ее в горе, сказал ей:

— Без страданий нельзя спастись!

Та же духовная дочь, много лет спустя, видела старца со всеми его духовными чадами, и он сказал им:

— Мы должны быть образцом для других!

Она же видела во сне усопшую свою мать и бросилась к ней со словами:

— Это ты, моя радость!

Она строго взглянула на дочь и сказала:

— Радость — Господь!

ЕПИСКОП ИННОКЕНТИЙ ХЕРСОНСКИЙ

Студент

Перед нами стоит смиреннейший епископ Иннокентий. Это имя дано было ему при постриге не случайно, а в память святого архиерея Сибири, откуда и где воссиял и сей Иннокентий. Происходил он из духовной семьи Рязанской губернии Солотчиных; но потом они переехали в Томскую губернию. Кончил там духовную семинарию, а потом поступил в СПб. Академию. Почти всегда поступившие в нее кончают успешно четырехлетний курс. Но Солотчин,

неожиданно, после двух лет обучения, подает прошение об увольнении. И потом просит Томского архиерея зачислить его сотрудником в Алтайскую миссию для просвещения сибирских язычников. Тайна такого исключительного поворота души студента мне неизвестна. После этого раб Божий никогда не хвалился академическим образованием, как другие, упоминая лишь о семинарии.

— Но, Владыко, вы же учились и в Академии, — скажет, бывало, кто-нибудь.

А он, просто глядя вам в глаза, ответит медленно с невинным видом:

— Да ведь что же?! Не кончил ее! — давая понять, будто его уволили за неспособность.

И на этом обыкновенно обрывались все разговоры об Академии. Дальше шли речи более важные, чем учебная школа. По-видимому, о. Иннокентий не придавал действительно в душе своей особого значения наукам, но открыто он никогда не говорил об этом. Лишь однажды он рассказал мне следующий случай из жизни казанского ученого архиепископа Владимира, бывшего раньше инспектором и профессором в СПб. Академии. Приехал он в семинарию на экзамен по философии. Вызвали лучшего ученика. Он смело ответил по своему билету. А потом архиерей задал ему вопрос:

— Скажи ты мне: что такое философия?

Лучший ученик сразу припомнил определение ее в учебнике и бойко начал: «Философия есть наука о бытии в его сущности» — и т. д., и т. д.

— И ты все это учил?

— Да, — в недоумении ответил молодой философ.

— И зубрил?

Семинарист промолчал.

— Так забудь ты все это. Я тебе скажу, что такое философия. Философия есть наука о заблуждениях человеческой мысли.

Так ли было в деталях, или в простой передаче еп. Иннокентия рассказ получил несколько упрощенную форму, но думается, и сам он не придавал высокой цены нашей учености. И совершенно верно! Может быть, и молодому студенту Солотчину уже тогда не по душе пришлось преклонение перед «науками», и он уволился из Академии? Или Бог звал его к апостольскому делу миссии?

В Алтайской миссии

Эта миссия состояла из нескольких «станов», в каждом из которых трудилось по нескольку человек. В один из таких и вступил Солотчин, — уже постриженный потом в монахи, с именем Иннокентия. Вероятно, сначала он был послушником, а впоследствии стал и начальником стана. Служение это было не легкое: язычники относились к миссионерам враждебно, условия жизни были физически трудные, иногда и хлеба не достанешь; климат суровый; а больше всего тут вредил святому делу «ангел сатанин», о коем говорил Ап. Павел: «да ми пакости деет».

Ведь вся история христианской миссии, со времен «Деяний апостольских», есть крестное дело среди борьбы, гонений, мучений, убийств, ненависти врагов Христовых. А во главе всего этого стоит диавол: о нем в наших школах на уроках церковной истории, увы, не говорилось, все переводили на «естественно-исторические» причины. Но сила Божия все препобеждала; и волны Церкви, перекатываясь через все препятствия, бежали все дальше и дальше, до концов мира. Сам Бог помогал проповедникам — и словом, и чудесами.

Так было и в Алтайской миссии.

Однажды стан о. Иннокентия остановился на границе языческого поселка. У миссионеров не было пищи. Сам о. начальник пошел с мешком к одному из жителей, прося хоть продать ему муки или хлеба. Но тот отговорился бедностью и указал на богатого «шамана» (местного жреца). О. Иннокентий и пошел к нему, прося хлеба «Христа ради». Тот встретил его недружелюбно, но сделал вид, что хочет дать муки. Пришли к амбару. Шаман приказал раскрыть мешок. И взяв одну щепоть муки, сказал с насмешкой:

— Вот тебе Христа ради!

Не смутился Христов ученик. Истово перекрестившись, он упал с благодарностью шаману в ноги и сказал:

— Да спасет тебя за твой дар Христос Господь!

Жрец так был поражен смирением монаха, что тут же просил научить его вере христианской и без долгих проповедей крестился сам со всем поселком.

И сколько бы мог рассказать интересного, важного и поучительного из своей работы о. Иннокентий, но никогда, вопреки нашему общему влечению хвалиться, ничего подобного не говорил. Мудрые любят смиренное молчание. Поэтому и я, к сожалению, не могу ничего больше рассказать об этой полосе его жизни.

Мало-помалу о. миссионера возвышали в чинах, и наконец возвысили его в сан епископа Благовещенского. Не по его смиренной душе, привыкшей служить, а не повелевать, было новое послушание. И он начал просить освободить его от высокого положения и отпустить на покой, куда-нибудь в монастырь. Вероятно, и года уже незаметно подходили к старости. Справедлива русская пословица: «Не так скоро дело делается, как скоро сказка сказывается». Время у всех течет быстро и незаметно несет нас к общему концу — к смерти. Но можно без колебания предполагать, что наряду и в основе внешней миссионерской деятельности росла и его внутренняя собственная духовная жизнь: молитвенный дух, живое благодатное общение с Богом, стремление отдаться всецело Господу. И возможно, что епископ Иннокентий, отчасти прикрываясь своей старостью и «неспособностью» к управлению, стремился теперь отдаться более созерцательной жизни к «спасению своей души». Ведь Один Бог да дух человека знают: что было и есть в человеке! Святой Синод назначил его сначала в Алатырский Троицкий монастырь (Симбирской губернии), потом он был переведен на юг, в Крым, настоятелем монастыря, возле г. Севастополя. Этот монастырь был создан на месте крещения св. Князя Владимира. Еп. Иннокентий управлял им около четырех лет, затем был перемещен настоятелем в Свияжский монастырь Казанской губернии. А оттуда был возвращен в Херсонес в 1909 г. Здесь мне и пришлось встретить его. Еще будучи студентом Академии, я посетил его. А потом, рукоположенный в викария Севастопольского, сделался его преемником по управлению монастырем; он же ушел совсем на покой, удалившись в особый домик, возле колоссального собора, построенного над остатками стен древнего храма, где, по преданию, крестился князь Владимир. В домик к нему почти никто не ходил. Но об этом расскажу после.

А теперь вспомню кое-что о жизни его, как настоятеля этого монастыря, и как об этом я слышал от других — сам он всегда предпочитал молчание.

В монастыре братии было немного, человек 30, хотя земельные средства были очень богатые. Братия в большинстве была поющая и становилась на клиросе; другие, по обычаю, несли иные послушания: в алтаре, на кухне,

по коровнику, по трапезной и проч. Сам настоятель, епископ Иннокентий, обычно становился с певчими на клиросе. По монастырскому уставу в нескольких местах утрени полагается, как известно, и посидеть. Например, при чтении псалмов можно сидеть, отчего они и названы по-гречески «кафизмами», а по-русски это значит «сидение»; во время чтения поучений и проч. Для этого на клиросе делались подъемные лавочки, которые после сидения опускались. Конечно, монахи всегда пользовались этими моментами «отдыха». Но зато стоял Владыка, никогда не присаживавшийся, несмотря на старость. Говорят, что кто-то из посторонних однажды спросил его:

— Владыко! Почему вы не садитесь, как и все другие?

— Да ведь как тут сядешь-то? — отвечал он на очень простом сельском языке. — Вон они (монахи) сидят, а я стою. А если я сяду, так они и лягут, пожалуй.

Я думаю, что подобной шуткой он хотел снова прикрыть совсем иные мотивы стояний: подвиг свой. Но ему совершенно невозможно было вскрывать напоказ свои добродетели. И вероятно, потому он отвел нескромный вопрос шуткой. Вообще он говорил крайне просто, иногда прямо по-деревенски, употребляя крестьянские обороты, вроде: «Ежели всмотришься — вглядишься», или: «Да кто ж его знает» и т. д. Никогда не любил употреблять иностранных слов.

Однажды произошел такой случай. О. Амвросий, исполнявший в монастыре обязанности ризничего, как-то остался ночевать у знакомых в городе, а в монастырь возвратился уже утром. Благочинный, по долгу своему, сообщил об этом Владыке. Он велел позвать виновного к себе в настоятельские покои. По обычаю, монахи при входе кланяются архиерею в ноги, прося благословения.

— Отец Амвросий, — спокойно обращается к провинившемуся Владыка, — ты нынче не ночевал дома-то?

— Простите, Владыка святый! — снова бросается тот в ноги святителю.

А монах он был большого роста, всегда с тщательно расчесанными волосами и бородой, в прекрасно сшитой рясе, а иногда и на шелковой шумящей подкладке, с красивыми разноцветными четочками, в блестящем черном клобуке, жизнерадостный, улыбающийся, всем услужливый, приветливый. А сверх всего этого, он искренно любил Владыку и прислуживал ему. Да и святитель, кажется, относился к нему с любовью же.

— Простить-то бы ништо! — отвечал пословицей архиерей. — Да было бы за што.

Тот молчит. Да и что тут скажешь?

— Давай помолимся!

И старый святитель становится перед образами и начинает класть земные поклоны с молитвой: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня, грешного!» С ним бьет поклон и о. Амвросий; за первым следует второй, пятый, десятый, тридцатый... Старцу архиерею, ширококостному, но с тощей постнической плотию, все нипочем; а у полного ризничего уже и сил нет, и пот катится по лицу... Уж не знаю, до какого десятка довел виновного Владыка. Потом обращается к монаху с мирным благословением:

— Иди, брат! И вперед уж ночуй в монастыре.

Тот сделал последний прощальный поклон и вышел.

Пищу Владыка употреблял самую простую: картофель, щи, кашу. Но если появлялись «важные» гости, он приказывал подавать и спрятанную соленую рыбу, и яичницу, и молочные продукты. Но сам не касался этой «роскоши». Подробный список пищи напишу после.

— Владыка, что же вы сами не кушаете этого?

— Желу-у-док не принимает, — отвечает он медленно и при этом указывает на место, где у него находится этот своенравный желудок. А смотрит он на вас в это время опять будто детскими наивными глазами. Мы же уверены, что он лишь скрывает свое постничество, — и не только не вкушал, конечно, скоромного, — но и из постной пищи выбирал себе только самое простое: это тоже не так уж легко и обычно.

— Вот картофель, — и он дружественно указывал на пару картофелин, — принимает мой желудок.

Еще рассказывали мне замечательный случай о фотографии.

В его время покойный митрополит Киевский Флавиан собирал почему-то коллекции всех русских архиереев. Но еп. Иннокентий не снимался, он считал это греховным делом:

— Ведь у нас кого изображают-то? Чьи лики-то на иконах? Господа нашего Иисуса Христа, Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, апостолов, мучеников, святых. Ведь вон Кого нужно изображать, а не наши грешные лица, — говорил он в объяснение.

Но тут был случай особый: сам Киевский митрополит

просит! Что же Владыка? Пишет письмо с отказом, прося прощение за ослушание. Но тот неумолимо настаивает на своем. Смиренный святитель повинуется, едет в город, снимается, но захватывает всего лишь одну фотографию для митрополита, а негатив приказывает фотографу разбить, чтобы тот не повторил снимков.

Кстати: вид его был благолепнейший. Широкая, изпод самых глаз растущая седая борода, проницательные, но намеренно скрываемые очи, сжатые, едва видимые за усами, тонкие губы, широкие, но тощие руки, всегда прилично одетый, людей принимал непременно в рясе, клобуке и панагии, в храм ходил с архиерейским жезлом. Вообще вел себя достойно истинного святителя и по внешности показывал себя обыкновенным.

Но что было внутри, знает Один Бог высоту его жизни и молитвы. Одно лишь я хорошо помню: на суставах его пальцев были большие мозоли — от множества земных поклонов.

Некоторые мысли его

Я уже писал, что он не любил учить и наставлять, особенно от своего имени.

И поэтому он в монастыре никогда не говорил проповедей. А в положенное время читали что-либо из разных печатных сборников. Как-то я спросил его: почему он не говорит от себя?

— Да ведь проповеди-то отца протоиерея Шумова (или там Белоцветова) какие прекрасные! И думать-то не приходится. Лучше не скажешь!

И выйдя на амвон, широко перекрестившись, он благоговейно начинал читать монахам или немногим богомольцам из города «прекрасного» Шумова...

Мне случалось иногда беседовать с ним, и некоторые его мысли врезались навеки. Вот одна из них — «Кто хорош?»

Как-то я, еще студентом, начал в разговоре с ним хвалить одного из знакомых: вот он-де какой хороший, какой славный. Выслушав мою легкомысленную сказку, Владыка вдруг и спрашивает тихо:

— Вот мы,— не сказал мне — «вы» — а и на себя взял грех, — часто говорим: такой-то хороший, а такой-то нехороший. Скажите мне: что значит быть хорошим?

Немного подумав, я ответил ему:

— Хорош тот, кто смирен.

— Так-то оно так, да ведь как узнать-то, что ты смирен?

Я не нашел ответа и спросил, что думает сам Владыка.

— Хорош тот, кто искренне считает себя нехорошим, тот только еще начинает быть хорошим.

На том и кончился тогда этот разговор. Но теперь я задумываюсь: зачем он задал мне такой вопрос? Не может быть, чтобы лишь для отвлеченного рассуждения! Такие люди всегда имеют какую-либо жизненную, практическую спасительную цель... Долго я размышлял и сделал такое предположение: урок его был направлен ко мне самому. Я хвалил другого, но в это время о себе думал высоко, что вот и я хорош, и хорошее дело делаю: хвалю, а не осуждаю. А если хвалю, то считаю себя вправе делать разбор и оценки, обыкновенно эти оценки делают высшие по отношению низших. Ясно, что я в то время воображал о себе немало и, конечно, не считал себя плохим... Вспоминается изречение из древних отцов, что они не любили ни корить, ни хвалить, ибо в обоих случаях они становились судьями, т. е. мнили бы себя выше других.

И Владыка должен был сказать тогда мне прямо — чего ты о других думаешь? Посмотри на себя: ты-то каков? Но по своему смирению он не мог сказать это открыто, потому и придумал такой отвлеченный разговор.

Но увы! Я не сделал этого вывода до конца, а мне, как «богослову», понравилась лишь «остроумная» постановка вопроса о хорошести. И лишь теперь, много лет спустя, я вижу (и то мало еще): да, я не считал себя нехорошим...

В другой раз я вел себя еще хуже: в беседе с ним я уже кого-то резко и настойчиво осуждал. Епископ прямо мне смотрел в глаза и молчал, точно будто внимательно слушал. Во всяком случае он не прерывал меня, не остановил, и я во взгляде его не подметил укора... Может быть, теперь бы узрел печаль обо мне в очах его... Я продолжал и продолжал судить — он слушает. Наконец, запас моей критики пришел к концу... После я много раз рассказывал об этом случае знакомым и задавал им вопрос: что они думают, как бы должен в подобном положении поступить опытный святой служитель? И что сказал на этот раз епископ?

И почти никто не отвечал мне правильно. И ответ — не легкий. В самом деле, если бы согласиться со мною в осуждении, то и слушатель оказался бы соучастником греха; если же так или иначе осудить меня самого или хотя бы остановить разговор, то Владыка стал бы судьей надо мной, как я — над тем. А кроме того, может быть, тот человек и в самом деле что-либо худое допускал; если так, то как худое защищать? Или как называть его хорошим? Итак, везде трудно. А благодатный дух Владыки нашел легко мудрый ответ. Крестясь, он спокойно с молитвой сказал: «Спаси, Господи, этого человека!» — т. е. осуждаемого мною. А затем, снова крестясь, добавил о себе: «И помилуй меня, грешного». Про меня же ни слова... Так он никого не осудил, кроме себя. А к осужденному проявил любовь в молитве... Я же сам уже должен был сделать вывод: хорошо ли я поступил, судя другого?

Я не раз поражался такой Божественной премудрости Владыки. Дух Божий руководил его.

Пришла революция. В районах белой власти постоянно бранили красных. «Особый» Владыка и тут занял особую позицию.

— Вот мы все осуждаем их и молимся о себе. Да ведь еще неизвестно: о ком нужно больше молиться-то? — Потом, подумав, добавил: — О них нужно молиться, они — в опасном духовном положении.

Ни слова ненависти, ни намека на их политику, ни даже какого-нибудь осуждения, а лишь — о молитве.

Еще вспоминается его ответ о войне: что он думает по этому вопросу? Тогда либеральное мнение осуждало всякую войну. А он, задумавшись немного, со спокойной решительностью и ясной для себя несомненностью сказал по-деревенски:

— Ежели всмотришься-вглядишься, то, пожалуй, еще скажешь: слава Богу, что есть войны! Без них еще хуже было бы.

Признаюсь, что такой ясной и смелой формулировки о войне, с благодарением Богу, я не читал нигде. Такие люди, как он, не умственно подходят к вопросам, а духом зрят основную правду или неправду в решении их.

Пример — недавняя война против немцев... Ее принял сознательно и русский народ, вслед за правительством; ее благословила и Церковь от всего сердца. И, конечно, нужно сказать:

— Слава Богу, что война была!

Еще не хочу забыть один случай. Однажды еп. Иннокентий ехал по какому-то делу в Симферополь. Сидел он в третьем классе (и это — значительно). На одной из станций вошла женщина с ребенком на руках. Мест свободных не было. Он встал, уступил свое место и продолжал стоять... Это рассказывали очевидцы.

Однажды он заговорил о фарисее, хвалившемся собою:

— Да ведь как тут не подумаешь о себе хорошо, когда сравниваешь с мытарями, прелюбодеями и другими грешниками? А если бы он сравнил себя с пророками, а мы теперь — с Пресвятою Богородицею, апостолами, мучениками, с великими преподобными, вот тут уж не станешь хвалить себя, а опустишь голову, как евангельский мытарь, да только и скажешь: Боже, милостив будь ко мне, грешнику.

Последние дни

Святитель вообще не болел, и я не помню случая, чтобы он обращался к докторам. И до самой кончины никто из нас в монастыре не думал о его близкой смерти. За неделю до этого я пришел к нему с какой-то беседою. По обыкновению, он был внимателен и сосредоточен. Перед моим уходом он, вопреки его обычной сдержанности, вдруг прямо и решительно обратился ко мне и дал мне некий обличительный совет... И притом со всей определенностью и даже с резкостью: точно это был уже не смиренный Владыка Иннокентий. Совет был явно прозорливого свойства. Точно от удара хлыстом я съежился и виновато молчал. Но вдруг картина решительно изменилась:

— Простите меня, ради Бога! Простите, — завопил он. — Кто я такой, окаянный, что осмелился сказать вам это? Я сам еще не начинал спасаться!

А через неделю наступил конец. Утром ко мне пришел «наместник» монастыря (т. е. заместитель настоятеля, фактически правящий монастырем) и сказал об агонии Владыки. Мы поспешили к умирающему. Там сидел и наш монастырский фельдшер, иеромонах Августин. Владыка был уже без сознания, тяжело стонал. И через несколько часов скончался. Когда он испустил последний

вздох, вдруг раздалось страшное рыдание: это плакал о. наместник, духовный сын усопшего. Тут должно обратить внимание на крайнюю необычность этих слез именно не у кого другого, как у о. наместника. Это был человек очень справедливый и талантливый администратор по монастырю, но в то же время — и властный, и резкий. Его почти никто не видел улыбающимся когда-либо. В монастыре у него было немало врагов, особенно из своевольных и недисциплинированных монахов. И мне самому он был тяжел и казался жестким и жестоким. И не раз я собирался переводить его в иной монастырь, но все откладывал. И вдруг — этот надрывающий душу крик и рыдания. Я был поражен. Как он — о. наместник — любил покойного! А если любил, если мог так сильно любить, то он не мог быть дурным человеком: дурные никого не любят. И я искренне примирился в душе с мнимым недругом моим. А теперь вспоминаю его с почитанием и любовью и рад бы видеться...

После были устроены надлежащие похороны. И покойник был погребен под сводами в право-задней стороне.

Никаких денег у него не осталось. Вещи же свои он завещал монастырю и некоторым из нас. Мне досталась его верхняя ряса, которую я и носил, недостойный.

Среди книг и рукописей оказалась одна тетрадь его о необычайном чуде, о коем я по памяти теперь и расскажу, не ручаясь за точность подробностей. Эта рукопись была копией письменного доклада покойного Томскому архиерею, пославшему его обследовать необыкновеннейшее чудо.

В одном алтайском селе нужно было совершить крещение новообращенного. Возле стоял и восприемник, бывший прежде язычником. Когда священник зачитал молитвы, где испрашивалось об освящении воды «наитием Святого Духа», то восприемник испуганно закричал, прерывая священника:

— Это и со мною так было? Это и со мною было?

Едва успокоили его, заставив замолчать. Что же оказалось? Когда священник молился о «наитии Святого Духа», сей бывший язычник, а теперь христианский восприемник, ничего не думая и, конечно, не разумея даже слов молитвы, вдруг явно увидел Духа Божия, спускавшегося из-под купола на чан с водою, в виде огня Пятидесятницы. И этот огонь растаял в воде.

Вот тут и закричал созерцатель этого чуда. О совершившемся донесено было архиерею, а тот и назначил ответственным следователем о. Иннокентия. Он под присягою допросил всех свидетелей, и все подтвердилось с несомненной достоверностью.

Благодарим Господа, что и доселе еще творились Его чудеса в Православной Церкви!

Значит, и при всяком крещении сходит Дух Святой. Значит, и при освящении крещенской воды сходит Дух Святой. Слава Духу Святому, Господу Животворящему!

Мне осталось рассказать о последнем воспоминании, слышанном мною от севастопольских дворян.

Жили муж и жена, она православная, он — протестант. Дети у них не рождались. Но жена хотела иметь хотя бы приемного мальчика. А муж опасался брать приемыша, ввиду неспокойного характера своей жены. Споры не приводили их к соглашению. И тогда они решили принести вопрос на суд Владыки. Его тогда уже чтил народ как святого. Пришли в монастырь. Епископ сначала принял мужа-протестанта. Его долго продержал Владыка и выпустил плачущим, дав совет не брать приемыша. Жена ожидала к себе, именно как к православной, еще большего внимания и рассчитывала на победу своего мнения. Но Владыка, ласково проводив мужа, жену его не принял даже для беседы, только с печальной укоризной сказал ей:

— Гордыня, матушка, гордыня! — И затворил двери...

Так мне рассказывали, так и записал.

Через год мы эвакуировались из Севастополя в Константинополь. Последний, кто пришел на броненосец проститься со мной, был тот же о. наместник, который горько рыдал над своим духовным отцом. Ничего он не просил, ни на что не жаловался. Только я чувствовал его любовь и ко мне, худому. Получив от меня благословение, он, печальный, тихо пошел по палубе... Что-то с ним будет?

Прошло 28 лет. Я возвратился из-за границы на родину. И узнал, что архимандрит Августин еще жив и живет в Алма-Атинской области. Я снесся с ним и получил несколько писем от него. Особенно я просил его написать мне воспоминания свои об епископе Иннокентии, которого он знал много лет по Херсону, был ближайшим сотрудником его по монастырю и лично. Из этих писем я и выпишу некоторые новые данные об Угоднике Божи-

ем, а также и о самом монастыре. А что было уже написано, опускаю.

«Приветствую вас с праздником Св. Живоначальныя Троицы...

Посылаю вам сведения об епископе Иннокентии... Написал то, что более запечатлелось в памяти. В мире — Иван Солотчин. В епископа хиротонисан в Томске в гор. Благовещенск, в 1900 году (или 1899)...» Далее о. Августин вспоминает о хозяйственной деятельности Святителя в Херсонесском монастыре, это я опускаю, пишу лишь то, что касается духовной личности его:

«Владыка Иннокентий, во все время его настоятельства в Херсонесском монастыре, неопустительно посещал все церковные богослужения. Особенно отдавал предпочтение утрене, совершаемой в 4 часа утра. На утрени сам читал все каноны. Никогда не садился, несмотря на болезнь ног. Особенно чтил память св. Иннокентия Иркутского, 26 ноября. Акафист ему читал на коленях, иногда со слезами. Раза три в году Владыка ездил в Севастопольскую тюрьму для совершения богослужения: в один день на пасхальной седмице, на храмовый праздник Св. Николая (9 мая) и в одно воскресенье Великого Поста. И, кроме того, несколько раз в году ездил туда для собеседования с арестантами. В Великий Пост читал им о страданиях Спасителя. Когда служил там, то каждый раз выделял из своих скудных средств небольшую сумму (25 рублей) на улучшение пищи арестованным. Начальник тюрьмы сначала не хотел принимать этого, говоря, что у них пища и так хороша:

— Вы посмотрите на них, какие они исправные!

— Но все же, — говорил Владыка, — слава Богу, что они — исправные, а я прошу принять от меня малую лепту. Наше дело — утешить их страдания хоть чем-нибудь: купить им рыбки, фруктов; чайком сладеньким с сухарями напоите, вот им и будет утешение и настоящий праздник.

В воскресные дни проводил беседы с братией в трапезной. Все монашествующие и послушники за неделю должны были заучить наизусть очередное воскресное литургийное Евангелие; и таким образом братия приучалась к чтению Евангелия. Великим Постом Владыка проводил с ними беседы о страданиях Спасителя.

Всех приходящих за помощью или милостынею принимал сам... Даже на пути в храм всегда останавливался

и подавал милостыню просящим. Зато после смерти не осталось у него ни одной копейки, только — небольшая сумма, оставленная заранее в конверте с надписью: «На погребение».

Незадолго до смерти Владыка принял пострижение в схиму, с именем Иоанна, Предтечи Господня, и над ним было совершено Таинство Елеосвящения...

Митрополит Петроградский Антоний был два раза; первый — в сентябре 1902 года. Обращаясь к братии монастыря, он сказал: «Вам назначили настоятелем великого молитвенника, смиренного и кроткого епископа Иннокентия. В духовном отношении он будет образцовым настоятелем, а в экономическом, я думаю, между братии всегда найдутся опытные ему помощники, которые будут следить за хозяйственной жизнью обители...»

Расскажу про один печальный случай. В 1904 году Владыка Таврический Николай возвращался из Одессы, с хиротонии Елисаветградского Анатолия, через Севастополь пароходом. Телеграмма его о приезде в монастырь не была получена своевременно. И лошади к 4 часам утра не были высланы. Владыка приехал на извозчике, к 7 часам утра; в это время Святые ворота бывают еще закрыты, и братия, после утрени, ложатся вздремнуть. Владыка Николай с черного хода подъехал к парадному подъезду. Первым заметил его я, так как мои окна были около подъезда. Пока я одевался, Владыка был уже на верхней площадке лестницы. Двери в покои были заперты келейником снаружи. Когда его разыскали и открыли дверь, Владыка Иннокентий подошел к Владыке Николаю с приветствием: «Милости просим, Преосвященнейший Владыка». Но Владыка Николай отвернулся от него и стал кричать: «Боже мой! Приехал архиерей, а они все спят!.. Старый дурак! Грех на себя взял и тот архиерей, который производил и тебя в архиереи! Тебе не архиереем быть, а свинопасом!»

Владыка Иннокентий кланялся земно, прося простить его и братию.

— Пошел прочь, старый дурак! — и ушел в покои.

Наш Владыка стоял с недоумением и говорил нам:

— Спаси его, Господи! Что с ним случилось? Верно, по дороге что-нибудь произошло? Надо молиться о Владыке, чтобы Господь помог ему успокоиться!

После обедни он сделал попытку войти к Владыке Николаю и взял просфору. Но он его не приня Влады-

ка весь день молился... Сообщили благочинному Баженову, он тоже ничего не знал о прибытии архиерея. И уже к 4 часам вечера приехал он к Владыке Николаю. Во время их беседы была подана нарочным телеграмма. Тогда был приглашен и Владыка Иннокентий. Он поклонился в ноги, умоляя простить его и братию за невнимание к Епископу. Но — ни одного слова не сказал в оправдание себя, что они не получали телеграммы... Только тогда состоялось примирение...

(Моя вставка. Это для нас, грешных, просто — невероятно! И я думаю, что подобного случая не бывало во всем мире. Только смиренный Святитель мог сделать это... Как не умилиться перед ним?! А о В. Н. хочется плакать. — *М. В.*)

— Ведь вот какие случаи в жизни бывают! — говорил нам он после. — Спаси нас, Господи!

Вспоминаю, кстати, и другой случай с о. благочинным. Умерла у него жена. Он приехал пригласить Владыку на погребение. И просил преподать ему утешение в постигшем его горе. Подумал немного Владыка и сказал: «Слава Богу!» О. протоиерей смутился от такого ответа.

— Нужно не сетовать, а благодарить Господа за великую Его милость. Ведь без Его воли святой ничего не совершается в мире!

Не успокоился благочинный. А Владыка спокойно продолжал:

— Когда мы научимся жить по воле Божией и Его Всеблагому Промыслу, то для нас будет ясна и смерть матушки. Она тяжело болела больше года, приготовила себя к переходу в вечную жизнь. Об ее кончине нужно только благодарить Господа и усердно молиться!

О. благочинный понял Владыку и стал благодарить его за такое утешение...

Относительно прозорливости:

Был такой случай. Одна гражданка г. Севастополя пришла к Владыке за благословением. Он благословил ее и сказал:

— В твоей комнате на сундуке, под клеенкой, лежит картина, которую ты должна убрать: у тебя на днях будет обыск и ты можешь пострадать.

Это был портрет Николая II. Женщина эту картину сожгла. Через 5 дней, действительно, был обыск, и все обошлось благополучно.

Отношение к братии было снисходительное. Виновных

иногда вызывал к себе, сначала говорил спокойно, под конец возвышал тон. Когда виновный уходил, то он нам с восторгом говорил:

— Ух, и пробрал я его! Будет долго помнить меня!

Но уходящий, наоборот, был спокоен: он знал, что этим всё и окончится; и все обходилось благополучно.

А если кто провинился больше, Владыка давал назидание и ставил его на поклоны. А сам в это время стоял сбоку и считал поклоны по четкам. Иногда же вместе с ним клал поклоны. А потом с миром отпускал.

Отношение же монашествующих к нему было не со страхом, а как внуков к дедушке. И мы все так и называли его: «наш дедушка». Когда он видел нас утомленными от какой-нибудь работы или от перегрузки, то сочувственно говорил: «Спаси вас, Господи! Вы уже сегодня измаялись».

Я при нем прожил всего 20 лет и ни разу не имел никакого выговора. Если и были ошибки у меня по службе, то когда мы встречаемся у него в зале, он остановит меня и, ни слова не говоря, посмотрит приветливо в глаза мне, тяжело вздохнет и скажет:

— Спаси тебя Господи, брат.

А я, понимая мои ошибки, извинялся и, приняв от него благословение, уходил.

К подвигам его относится личный обычай: на всех богослужениях, во время произношения последнего прошения на просительной ектении «Христианские кончины живота нашего и доброго ответа на страшном судище Христовом», клал земные поклоны, этот обычай он исполнял до самой смерти.

Еще припоминается особый случай. Французский консул в Севастополе, Луи Ге, очень уважал Владыку и часто посещал его. Воспользовавшись этим, он возбудил перед ним ходатайство о возвращении из Парижа плененного во время Крымской войны колокола в 150 пудов. Правительство Франции возвратило его из собора Божией Матери («Нотр-Дам») в монастырь в 1913 году. Он сохраняется и теперь.

За обедом Владыка приносил читать какую-нибудь книгу или газету и читал статью, отмеченную синим карандашом.

Не любил сниматься. А если кто-нибудь из-за кустов хотел сфотографировать его, он прятался.

У меня сохранилось два снимка его: на одном он снят с Архиепископом Томским Макарием, Мефодием и

еще третьим, после хиротонии его во епископа, а на другом — снят с Митрополитом Киевским Флавианом.

Колокольный звон к службе любил благословлять, за четверть часа выходил в зал, держал часы в руках и ходил взад и вперед, дожидаясь звонаря...

(Далее архимандрит Августин подробно описывает пищу Владыки Иннокентия. Но мы здесь не будем описывать это. Только отметим,— к написанному раньше, — что сначала он еще ел рыбу, только судака, а после и это перестал. Масла, даже постного, не употреблял, на первой неделе Великого Поста чай пил без сахара. Если же когда-нибудь приходилось с гостями выпить стакан чаю, кроме обычных двух, то за это он клал по 10 земных поклонов. Особенно хвалил редечный сок. Вино не пил никогда и не любил многопьющих. Но никогда никого не осуждал, а всегда говорил: «Спаси вас Господи!» Одежда его была простая. Были 2 панагии; и ни одного наперстного креста. Все, что оставалось, он раздавал: архиепископу Димитрию — панагию, мне — рясу, книги — в монастырь; прочее — монахам и знакомым. — *М. В.*)

Скончался он в 1919 году, 23 октября. Утром он пригласил иеромонаха Бориса, исповедался и принял Святые Дары. И еще, сидя на кровати, сам прочитал молитвы по причащении и выпил стакан чаю с просфорой. Потом лег в постель. Я сидел около него. Он уснул. Но начал ненормально сильно дышать. И, не придя в сознание, отошел ко Господу. Погребен был в задней части правого придела собора, в память преподобного Мартиниана: этот придел над могилой Архиепископа Таврического Мартиниана был устроен Владыкой Иннокентием на личные его средства и им самим освящен».

КРЫМСКИЕ ПОДВИЖНИКИ

Архимандрит Тихон

Архимандрит Тихон, в миру Тимофей Клементьевич Богуславец, родился в 1859 году; умер в 1950 году, 30 января.

Родился он в простой семье, получил техническое образование. Был на военной службе — моряком на корабле, участник в заграничном плавании. С детства имел

дар воздержания: никогда не вкушал мяса, сала не мог принимать. Среди моряков выделялся своим целомудрием. Офицеры любили его за чистоту, целомудрие, честность, во всем сдержанность и исполнительность. По окончании военной службы он поступил в монастырь близ Инкермана возле Севастополя.

Игумен, желая испытать Тимофея, подвел его к уборным, приказал очистить их.

— Где черпак и ведро? — спросил он.

И в своем чистом костюме принялся за дело. Игумен сразу принял. 60 лет о. Тихон — такое имя дано было при постриге — провел в иноческом чине.

Посещая город, он надевал заплатанную рясу и лапти, чтобы не тщеславиться.

Из Инкермана он переведен был игуменом в Георгиевский монастырь, в 11 верстах к востоку от Севастополя, на спуске горы к Черному морю. Но потом он снова возвращен в Инкерманский монастырь, где жил в пещере, вырубленной в каменной скале. Их было много, в римские времена сюда ссылали христиан и заставляли их вытесывать из гор прекрасный камень. Сюда был сослан и Климент, папа Римский, и папа Мартин, и многие тысячи простых христиан, и преступники. Во время гонений на христиан о. Тихон удален был и отсюда. Он ушел на Украину, последние же годы жил в С. И все время тосковал по монастырю.

— В монастыре тебя в Царство Небесное в спину толкают, — говорил он.

Он был духовным сыном оптинского старца, о. Амвросия. Последний, под видом некой юродивости, дал о. Тихону заповедь:

— Будь почудаковатее!

И поэтому он всегда шутил, смеялся, рассказывал веселые случаи, поговорки и пр. Жалобы, уныние, огорчение — не были знакомы ему, особенно на людях, а сердечный плач он скрывал. Лицо у него всегда было светлое, сияющее, розовое, без единой морщинки. И в девяносто лет он был бодр и весел, и не походил на старика.

Но в присутствии тех, кому он доверял, был строг и серьезен.

Он был наделен от Бога даром старчества. Рассказывается об этом несколько случаев.

Одна пожилая женщина, потерявшая в войну единственного сына и здоровье, оглянувшись на свою жизнь, пришла в отчаяние от множества своих грехов. Она была

даже вовлечена в союз безбожников. Но не ответила прямо на вопрос, верующая ли она. Услышав про отца Тихона, она приехала к нему. Хозяйка дома, где он жил, не впустила ее. Озадаченная, она осталась около закрытой перед нею двери. Вдруг она отворилась, и ее позвала к старцу хозяйка. Войдя в его комнату, женщина зарыдала и не могла сказать ни слова... Успокоившись, она открыла все, сказала и об отчаянии. Старец ответил ей:

— Вот отчаяние больше всех ваших грехов! А у Бога милости на всех хватит!

Получив благословение и указание — как ей жить дальше, — она ушла от него успокоенная, как будто бы она все грехи свои оставила у него.

Другой случай. Девушка-сиротка пережила в конце осады Севастополя немцами страшное горе: на ее глазах в убежище, разбитом снарядом немцев, сгорела ее мать. Она сидела в стороне и ждала, когда останутся от матери хоть кости. Полубезумная, полураздетая, она отправилась в Б-ву, чтобы там схоронить останки. За ней пошел из С. священник, знавший ее; он принял ее и похоронил кости в своем саду. Поселившись в С., она узнала об о. Тихоне и привязалась к нему. Но скоро она заболела психически; ее отправили в больницу. Когда она оправилась, старец предложил ей делать массаж, будто бы он страдает ногами; девушка была знакома с массажем. Отец же архимандрит все время что-нибудь говорил ей. И она совсем выздоровела...

Многих сироток он воспитал и дал им возможность обучиться; и теперь они в М. и в С. работают по бухгалтерии.

Однажды к нему приехала игуменья закрытого монастыря М-я с келейницей. Он поместил их в одной семье и питал их несколько лет.

В последние годы, когда в Крым был назначен известный ученый-хирург, архиепископ Лука, о. Тихон был его духовником; и назначен духовником всей Крымской епархии. Он очень чтил его. Узнав о смерти старца, архиепископ Лука бросился ему на грудь со словами и в слезах:

— На кого ты меня оставил?

За 20 дней до смерти старец перестал принимать пищу, ничего не вкушал, кроме Причастия, — а причащали его через день... Перед смертью соборовали его.

Иеросхимонах Серафим

Иеросхимонах Серафим был не простого звания. Братия, по наваждению врага, не любили его. Из обителей гнали его и считали недостойным постригать его в иноческий чин. В конце концов приняли в Херсонесский монастырь. Здесь он и прожил большую половину своей жизни, неся всякие послушания. А последние годы, приняв схиму, провел почти в затворе остальную жизнь. Там он не принимал к себе почти никого. Вел строгую подвижническую жизнь. В келии его висело изображение страшного суда и стоял гроб, в котором старец и почивал. В изголовье лежал камень с углублением для головы. Но в последние годы жизни двери его келии открылись для простых людей, ищущих спасения души. Особенно стремились к нему старушки-странницы и ищущие спасения в миру.

Однажды пришла к нему П. с маленькой дочкой.

— Ты знаешь, кто я? — спросил он ее.

— Ты — мертвый Батюшка! — ответила она в простоте.

— Воистину тебе Ангел возвестил, что я — мертвый.

Перед смертью посетили его три преданные ему старушки. Одной он сказал:

— Ты сама не съешь, а все мне несешь.

Другой напророчил:

— А ты, Анна, останешься со скорбями до смерти.

И это действительно сбылось.

Третьей ничего не сказал, а только снял шарф с ее головы и вытер себе глаза. И под конец ее жизни ее дочь и зять повыбрасывали все ее иконы. И она от слез ослепла.

Предвидя будущее гонение на церковь, монастыри, на священников, монахов, вообще верующих, старец говорил:

— Горе на земле, горе и на море, горе и на реках.

Спустя некоторое время после смерти его один инок Херсонской обители стоял около его могилы и подумал:

— Вот Батюшка Серафим помер и ничего от него не осталось: прах, и больше ничего!

Глядь, а Батюшка идет живой к собору... Инок бросился за ним бежать. Но о. Серафим дошел до собора, вошел через дверь и исчез.

— Вот тебе и прах! — воскликнул инок. — Батюшка жив!

Иеромонах Ксенофонт

Отец Ксенофонт сначала был иноком в Киевском монастыре, потом, еще до закрытия Херсонесской обители, переехал в С.

Во время обновленчества все священнослужители г. С. зашатались и отошли от Православной Церкви. И лишь один, небольшого роста, незаметный и малоизвестный священник, о. Агапит, сохранил православие.

В это время Господь послал православного епископа Сергия З-ва, он воссоединил с православной Церковью кающихся священников. Между прочим, он обратил внимание на инока Ксенофонта и рукоположил его в иеромонаха. Церковные службы он, как малообразованный, проводил с трудом; но во время гонения от отступников он прославился в С. своим усердием к верующим. Монахи и священники были сосланы; церкви разорены или закрыты. И вот в это время о. Ксенофонта Господь оставил на утешение христианам. Он жил в городе тайно: ночевал в сараях, в собачьих конурах. Но по вечерам и ночам, и в ненастную погоду, и в морозы он обходил христианские дома: исповедовал, причащал, крестил, напутствовал умирающих, навещал больных, приводил к покаянию отступников или забывших Бога.

В таких подвигах и злостраданиях, без крова и пищи, отец Ксенофонт провел несколько лет, подвергаясь постоянным опасностям от злых и неверующих людей.

Во время переписи о вере и неверии некоторые, страха ради, отрекались от Христа и объявляли себя неверующими: одни из них вскоре умирали внезапно; другие мучились в совести и заболевали; меньшая часть — одиночки, каялись. И таких кающихся о. Ксенофонт, ходя к ним ночью, воссоединял исповедью и причастием.

Но в конце концов пришлось и ему выехать из города. Поселился он в нескольких километрах от С., у чудного и большой доброты священника о. А., дававшего приют всем гонимым и бесприютным. Царство ему Небесное!

Здесь о. Ксенофонт продолжал нести прежние подвиги и посещения, как и в С. Но только у него теперь бы-

ло пристанище. Днем он старательно вычитывал правила, а по ночам вычитывал многочисленные записки о здравии и упокоении, подаваемые ему верующими. Читал он их медленно, с трудом, часами.

И точно придерживался устава Св. Отцов. И непременно требовал такой же исполнительности и от других, например, где полагалось произносить 40 раз «Господи, помилуй», чтобы так и делали.

— А зачем же, — говорил он, — Отцы и устанавливали это? Раз заповедовали сорок, надо столько и читать!

Не любил, когда приходили к нему духовные дети в шляпках. И говорил им:

— Матерь Божия таких — не носила. Надень платок!

Часто повторял приходившим:

— Надо иметь живую веру! Как рыбу в воде, птицу в воздухе, так и нас окружает благодать Божия!

Боролся он и против вкуса таким образом: борщ, кашу, кисель или что-нибудь другое смешивал вместе и потом вкушал.

Лицо у него было серенькое, незаметное, как у самых заурядных монахов. Но к концу жизни оно сделалось светлым, прозрачным, очень приятным, как лицо святого, совершенно не похожим на прежнее.

В последние годы его жизни Господь даровал ему отдых: одна добрая христианка, по указанию Божию, построила в своем доме комнатку, взяла старца к себе и посвятила себя уходу за болящим и ослабевшим подвижником. Из этой комнаты о. Ксенофонт никуда уже не мог выходить и в ней совершал все службы. И в эту домашнюю церковь собирались все почитатели старца.

К концу жизни он страдал болезнью сердца и отеком ног. Ничто не помогало ему: ни лекарства, ни пища...

Стал проявляться в нем дар прозорливости... Не раз он предсказывал: «Много крови будет всюду... Кровь... кровь. А в этом доме (где он скончался) не будет».

Перед смертью отеки ног и живота еще более увеличились: ноги были — как столбы. Но после смерти они исчезли; и все тело сделалось худеньким-худеньким.

Скончался о. Ксенофонт в 1946 году.

Иеросхимонах Софроний

В 22 верстах от г. Ялты, в глубине Крымских гор, покрытых густым лесом вековых деревьев, на небольшой поляне, расположенной у подошвы горы, находился маленький скит, называемый «Софрониева пустынь». Скит был женский, мал и беден. В нем не было ни ограды, ни ворот. У входа в дом скитниц на согнувшемся толстом стволе громадного старого дерева висело несколько маленьких колоколов. Управлял скитом иеросхимонах Софроний, отличавшийся простотой и смирением. Он жил в маленькой келейке, примыкавшей к церкви, устроенной вплотную у самой горы. В келии было небольшое оконце, выходившее в церковь: через него старец выслушивал все службы и правила, совершаемые о. иеромонахом Нонном, худеньким, истощенным от поста и молчаливым человеком.

Поздним вечером монахиня на коленях вычитывала правила, каноны Иисусу Сладчайшему, Матери Божией, Ангелу-хранителю. И тотчас же, в 12 часов ночи, начиналась полунощница, утреня; вычитывались правила к Причастию. Оканчивалось это рано утром.

Весь день жившие в скиту проводили в утомительном труде. Сна было мало.

Отец Софроний был прозорлив.

Однажды в скит пришли два студента. Перед их приходом он велел трезвонить в колокола, сказав:

— К нам идут епископ и священник!

Действительно, один из них стал после епископом; а другой в том же скиту принял иночество с именем Серафим и впоследствии рукоположен в иеромонахи. Он был любимым учеником старца Софрония: отличался духовным трезвением, глубокой внутренней жизнью и смирением; весь был в молитве, забывая все окружающее.

Однажды о. Софроний с иноком Серафимом предпринял богомолье в Киево-Печерскую Лавру. На обратном пути они заехали в С., обошли окружающие монастыри и пришли в Херсонесскую обитель к празднику Рождества Богоматери, в честь коего был освящен нижний храм Собора. Народа было много. Старец не желал, чтобы узнали о нем. Но каким-то образом люди узнали и бросились к нему за благословением и с разными вопросами. Батюшка сильно этим расстроился. А на другой день они тайно ушли в Георгиевский монастырь.

Там враг устроил им искушение. Иноки были оттуда уже изгнаны. Новые жильцы, неверующие, захватили старца с Серафимом, арестовали и заперли в одну из келий. Но с Божией помощью они чудом выбрались оттуда ночью и убежали опять в С., к одной старушке, знакомой им по скиту. Она, добрейшей души человек, тотчас озаботилась об угощении. После завтрака она изготовила обед и предложила гостям.

— Что это? Недавно вкушали и опять? Постникам тяжело нарушать воздержание!

Ночевать в комнате они отказались. Тогда кровати поставили им во дворе, но они, тайно от хозяев, простояли почти всю ночь в молитве, по разным углам двора.

После и они — о. Софроний, о. Нонн и о. Серафим — были изгнаны из скита и двое высланы в суровый край на север, где и скончались. А отец Софроний, одинокий и больной, выслан был на Украину, где вскоре умер...

Скит был разрушен...

Схимонахиня Серафима

Ее звали в миру Прасковья Фоминична Штокова...

Рано овдовела она: 22 лет. Муж ее был ранен на войне и умер. После смерти его она раздала все и ушла в Почаевскую Лавру. Там она была тайно пострижена в иночество, с именем Серафимы, и воротилась в С., где у нее оставались два брата. Вскоре они уехали на А. и там тоже приняли иночество.

Оставшись одна, Прасковья Ф-на начала вести строго-подвижническую жизнь: ночью простаивала на коленях на камне во дворе, вкушала мало, все прочее время проводила в непрестанной молитве. Свое схимонашество несла тайно, но носила длинную монашескую мантию и по улицам: за это над ней насмехались и считали ее ненормальной. Но другие видели в ней юродствующую подвижницу. Одна благочестивая женщина, Е. С., стала заходить к ней и прислуживать. А других пускала она к себе по строгому выбору.

Скоро она стала предсказывать. Между прочим, говорила, что в С. будет великое разрушение и прольется много крови.

Однажды пришел к ней шедший на войну человек. И вдруг мать Серафима закричала на него:

— Вон отсюда! Прогоните пса! Кто это впустил пса? Кровосмеситель! Пшел, пес, отсюда!

Действительно, он жил незаконно с двоюродной сестрой.

Пораженный, он упал перед ней на колени, прося прощения и благословения на войну... Вдруг она произнесла: «Дзинь», — и схватилась за свое ухо: «Ишь ты! обожгло ухо!»,а через несколько минут схватила себя за ногу и сказала: «Обожгло кожу немного!»

Он покаялся и получил благословение. Во время сражения одна пуля пролетела мимо уха, оцарапав его; другая пробила шинель и задела кожу ноги.

Были и другие случаи прозорливости.

Умерла мать Серафима в 189.. г. Местные люди благоговейно чтили ее память.

Странник

Этот странник — Л. В. С-в — происходил из богатой семьи; получил прекрасное образование и хорошее домашнее воспитание. Отец его женился поздно, лет сорока. Мать его, София, была благородной чистой личностью и умной по природе; и сама следила за воспитанием детей, хотя были и гувернантки у них. Семья состояла из троих сыновей и трех дочерей. Один из сыновей, М-л, офицер, погиб на войне, другой, Е-ний, кончив М. университет, был блестящим юристом. К ним в дом приходила молодая красивая девушка-еврейка, она торговала на улице папиросами, а к ним ходила набивать папиросы для красивого Евгения. Тайно от родителей он вступил в незаконную связь с этой девушкой. Но мать его, София, узнав об этом грехе, пригласила к себе ее (имя ее было Раиса) и заставила своего сына, избалованного юриста, жениться законным браком на этой девушке с улицы. Из нее, под влиянием матери мужа, вышла прекрасная женщина и ревностная христианка. Впоследствии Евгений стал священником, а во время гонений был отправлен в ссылку в Сибирь, где и скончался. Раиса окончила свою жизнь мученически: вместе с своим сыном она была расстреляна немцами, как еврейка, — несмотря на то, что была крещена.

Третий сын, Леонид, отличался особой религиозностью: еще будучи студентом М. университета, он посещал Троице-Сергиеву Лавру. Там он познакомился с духоносным старцем Алексием, который вынимал жребий на патриарха, и выпал он на М. Тихона.

Старец заповедал Леониду чаще креститься. Еще студентом он был взят на войну 1914 года; и всех удивлял тем, что часто крестился. Солдаты его любили, товарищи офицеры дивились, считая его поведение чудачеством. По окончании войны умерла его сестра Мария, особенно любимая им. Это совсем потрясло его, и он, оставив все, сделался странником, по благословении о. Алексия. Отправился сначала на Кавказ. Недалеко от г. Сухуми в лесу находился женский монастырь. Л. В. пожил в нем несколько времени и хотел уходить дальше. Но когда он, в церкви монастыря, стоял на коленях перед иконой Божией Матери, молился Ей, то увидел Ее живою в образе. Она повелела ему остаться здесь. И скоро он заметил недостатки у обитательниц: они обзаводились хозяйством, разводили кур. Он стал их обличать, что они живут не по иноческим заветам. Некоторые монахини стали прислушиваться к нему и исправляться, а большинство, вместе с игуменьей, восстали против него и выгнали из монастыря. Тогда он стал странничествовать по городам, зовя людей к покаянию. В пути останавливался только у христиан, — и притом по прямому указанию Божию. Жил, как птица, ходил босиком, волосы не стриг, и они густой копной покрывали его голову. Высокий, в желтом плаще, с высокой палкой в руке, он одним видом своим привлекал сердца ко Господу, а потом действовал благодатным словом. Слова его были так сильны, что без слез нельзя было слушать его.

Пришел он и в Крым, и здесь извлекал из духовных бездн души, намеченные Господом ко спасению. Своих учеников и слушателей он приучал к постоянной молитве Иисусовой.

Ночи проводил в молитве сидя. Пищу вкушал, как траву. Предсказывал и будущую войну. Толковал Апокалипсис, — по благословению о. Алексия. Изгонял бесов из тех людей, которые для этого ему указываемы бывали Господом.

Множество бедствий, гонений, клевет, оскорблений перенес он за имя Христово. Диавол ненавидел его, мстил, прельщал его, подсылая ему девушек и женщин.

Но он молился о них; и в их присутствии вытаскивал из своей головы вшей и бросал их на пол, желая этим вызвать к себе брезгливость и отвращение.

Для получения благодати посылал к одесскому батюшке, о. Ионе Атаманскому. Часто и сам бывал у него. Отец Иона очень любил его и высоко ценил. В одном письме к нему писал: «Ты мне — сын, брат и друг». Делился с ним своими духовными видениями.

Л. В. познакомился с молодым профессором М. По его приглашению он пришел к нему в дом, и они, забыв обо всем, три дня и три ночи, ничего не вкушая и не выходя из кабинета, просидели, разбирая Апокалипсис. И профессор сделался учеником Л. В.; позже его арестовали и выслали.

Однажды он хотел выйти из одного дома, уже подошел к дверям, как увидел в дверях Ангела с огненным мечом, преграждавшего ему путь. Он понял, что выходить нельзя. Действительно, его выхода ждали, чтобы арестовать.

Да и арестовывали его не раз и ссылали. А он везде вновь и вновь продолжал свое дело, возложенное на него Господом.

Был в дружбе и любви с архим. Тихоном, бывшим тогда игуменом Инкерманской обители...

Так в опасностях, злостраданиях проводил Л. В. свою земную жизнь. Окончил он ее мученически. Выслали его в Казахстан и требовали отречения от Христа. Конечно, он отвергнул это. А в 1937 г. его расстреляли.

Еще — заметка. Однажды Н. Н. была свидетельницей молитвы его в храме. Л. В. стоял неподвижно, как бы застывши, не крестясь и не делая поклонов, а только устремив пламенный взор на местный образ Спасителя в иконостасе... Он весь горел, находясь в молитве — ничего не видя и не слыша.

«Вот так молятся рабы Бога Живого», — подумала она.

ПРИХОДСКИЕ СВЯЩЕННИКИ

1

На этот раз я намерен рассказать об одном необычайном сельском священнике-молитвеннике.

Моя встреча с ним произошла еще в молодые семинарские годы. Зимой на святках мне пришлось гостить у своего друга и товарища Е. М. Он был талантливым юношей, впоследствии сделался профессором университета. Хотя отец его был священником, но мой друг считал себя неверующим, к величайшему огорчению его благочестивой матери. На стенах его комнаты висели портреты Маркса, Энгельса и других. Но это ничуть не мешало ему дружить со мною, человеком верующим, — за что его мать весьма сильно любила меня, а сына своего все-таки «обожала».

У этой семьи, особенно у матушки, была теплая дружба и даже какое-то родство с семьей священника о. Василия С., жившего верстах в сорока от нашего села. Матушка уже не раз рассказывала мне о нем совершенно исключительное: о случаях чудес его, о святой жизни, хотя он был многосемейный человек. Я очень заинтересовался им; и в один день с раннего утра мы втроем выбрались на санях «в гости». Поехал и мой друг, но он интересовался не святым батюшкой, а прогулкой и молодыми дочерьми. Путь был красивый: по чистому снегу, среди громадного соснового леса, при тихой погоде мы незаметно проехали часов шесть. Выехав на открытое поле, я увидел немного пониже длинное село с белой церковью. Друг мой говорит матушке:

— Я не буду подходить под благословение к о. Василию.

Я по тщеславию тоже хотел показаться «сильным», но добрая матушка предупредила это искушение мое:

— И. А., — обратилась она ко мне, — вы-то уж не слушайтесь моего сына, благословитесь.

Очевидно, она не желала нанести огорчение почитаемому ею духовному отцу таким нашим вольнодумством. Я промолчал, но в глубине грешного сердца затаилось легкомысленное искушение. Через четверть часа мы въехали в село, повернули к церкви; направо от нее стоял деревянный священнический дом, довольно большой, в 5—6 окон по длине его. Наш приезд не был предупрежден; и мы заметили за занавесками окон, как замелькали не ожидавшие нас женские лица.

В зале нас встретила матушка о. Василия, довольно полная женщина, с розовым лицом и тихой, медленной улыбкой. После нее появились две молодые девушки и еще двое или трое детей. Мы поздоровались. Девушек заинтересовал наш приезд: молодые «богословы». Кто

знает: может быть, женихи? Друга они знали и раньше, а я был новым человеком для них.

— А где же батюшка? — осведомилась мать друга.

— Он все еще в церкви, привезли какого-то больного, — спокойно и медленно ответила нам матушка. И может быть, она послала кого-нибудь оповестить его о неожиданном приезде гостей.

Минут через десять появился незаметно и о. Василий. Довольно высокого роста, очень худой, с бледно-розовым лицом, тонким носом, светло-рыжей бородой и волосами, он сразу произвел на меня очень серьезное и благоговейное впечатление. И мне стало стыдно от глупого предположения уклониться от благословения. Но товарищ мой уже успел пожать ему лишь руку; зато наша матушка с любовью и благоговением протянула к нему свои тонкие руки; вслед за нею я сделал то же самое. Отец Василий медленно и с молитвою осенил каждого из нас широким крестом. Я почувствовал, что это благословение принесло мне радость. И с той поры я каждое утро стремился прежде всего получить благодать Божию через его благословение... Не знаю: испытывают ли другие от нас что-нибудь подобное; но я ощутил это опытно. После я испытывал нечто подобное и от других духовных служителей Божиих; но едва ли с таким радостным трепетом, как от о. Василия.

2

Усердный молитвенник

Здесь мы погостили три-четыре дня. И многое запечатлелось особенно сильно в моей памяти доселе, хотя с того времени прошло уже сорок пять лет.

Сначала меня немного удивило, что у святого — такая большая семья, едва ли не семеро детей. Обычно мы представляем святых в виде монахов-пустынников, или девственных святителей, или мучеников. Здесь же была с виду обычная мирская и мирная семья. Но скоро это недоумение испарилось само собой: святой лик иерея Божия не нуждался в объяснениях и оправданиях. Факт оказался убедительнее теорий.

Кажется, в тот же вечер — это был канун воскресенья — отец Василий, направляясь по звону колокола к вечерне, сказал своей жене:

— Ныне ты не бери маленьких детей в храм: при-

везли одного больного, опасного. Как бы они не испугались?

Все мы прочие пошли к службе: не идти казалось совершенно немыслимо и грешно... Не помню лишь о друге... Со всех сторон к храму стекался народ. Село было большое. Кроме обычных сельских занятий, крестьяне работали еще на огромном винном заводе какого-то богача. Не доходя до храма, мы прошли мимо зданий (почему-то их называют «флигелями»), стоявших против алтаря церкви через проезжую дорогу. Мне объяснили, что это — дома для приезжающих больных и богомольцев.

Храм был уже полон народа. Началась служба... Она шла очень чинно, не спеша, а главное — по полному уставу — что не только в селах, но и в городских церквах почти никогда не исполняется. И если вечерня, при сокращении ее, продолжается обычно минут двадцать, то на этот раз она шла не менее часа. У самого о. Василия был прекрасный тенор; и он пел стихиры (помню: был глас седьмой) вперемешку со стариком псаломщиком.

По окончании службы народ расходился не сразу. И я увидел, как о. Василий направился в гущу толпы направо. Там и стоял «опасный» больной. Это был человек очень высокого роста, с красивым лицом, черной бородой и волосами. Родом — мордвин. Его держали два таких же огромных красавца — братья. А он все порывался куда-то идти. Но народ не шарахался от него; видимо, не впервые был такой случай. А кроме того: простой православный человек глубоко жалеет таких несчастных страдальцев и потому не чуждается их. Впрочем, больной вел себя в основном мирно: не кричал, никого не трогал; других он точно не видел перед собою.

Отец Василий подошел к нему совсем спокойно и обычным медленным крестом благословил его. А потом сказал братьям, чтобы они переночевали в доме для приезжих, а завтра привели его к утрене.

Другой день начался для батюшки очень рано. Кажется, около трех часов он уже вставал и начинал читать положенные «Правила ко причащению». У него была особенная «моленная» комната, большого размера, уставленная подсвечниками и множеством икон, некоторые — с частицами мощей. Там он и совершал свои молитвы. Не знаю, вычитывал ли он вечерние Правила с вечера; а они, при истовом их исполнении, занимают никак не менее часа, а при внимании — и полтора; да

утреннее правило берет три четверти или с час... Обычно мы, ленивые, лишь в начале своего служения пытаемся исполнять эти правила. Да и то с поспешностью, лишь бы «вычитать» положенные четыре канона — Спасителю, Божией Матери, дневным святым, ангелу-хранителю, — потом акафист и вечерние молитвы; а утром — утренние молитвы, канон ко причащению. А потом начинаем отставать, отставать и остывать, остывать. И наконец совсем оставляем эти правила. И лишь исключительные единицы из нас хранят этот мудрый обычай. А признаться, иногда никого не видать кругом, кто совершал бы те и другие правила.

И уже по одному этому можно удивляться таким единицам. Отец Василий был одним из таких иереев. Потому ему и нужно было вставать в три часа утра. Другие в деревне еще спали сладким сном, а он уже молился одиноко. В пять часов начиналась утреня. Народ быстро наполнял храм. И снова служба шла по уставу. Однако, чтобы сократить немного времени, батюшка установил такой порядок: одну кафизму он читал на правом клиросе вслух, а псаломщик в это время вычитывал другую «про себя». Иной может и возражать против такого «формализма», но едва ли нам, ленивым, следует критиковать ревнителей устава. Лучше помолчим.

Среди богомольцев на вчерашнем же месте я заметил привезенного больного. Мне показался он немного спокойнее, чем вчера.

В восемь часов утра утреня кончилась. И весь народ разошелся по своим домам, чтобы отдохнуть и подкрепиться пищей. А о. Василий один оставался в храме и начинал служить проскомидию, которая продолжалась еще целых три часа. Как известно, на проскомидии мы вычитываем помянники за живых и умерших. И таких книжечек у отца Василия были сотни: и он считал своим долгом поминать имена записанных лиц. Вероятно, ему присылали или оставляли богомольцы с разных стран эти помянники, не считая уже прихожан своего села за многие годы. На это и уходило 3 часа... В 10 часов раздавался благовест к литургии, потом псаломщик читал третий и шестой часы, а батюшка все вынимал и вынимал «частицы» в алтаре. Псаломщик читал — уж сверх устава — девятый час; но и этого оказывалось мало; он раскрывал Псалтирь и продолжал читать... Так проходил час. И начиналась уже литургия.

Нельзя не остановиться и на этом обычае о. Василия. Я уверен, что таких других священников почти нет. Да и вычитывать-то нам нечего: никто к нам не несет, не посылает своих помянников. Лишь исключительные молитвенники удостаиваются этого...

После запричастного [стиха] он предложил мне сказать поучение. Оно было выслушано внимательно, но без особого впечатления: да и что я, юноша, мог бы сказать им сильного, когда у них постоянно горел пред глазами такой светильник?!

Не нужно забывать, что народ после двух-трехчасовой передышки снова массой приходил в храм и проводил здесь еще добрых два, а то и три часа: всего с утреней, следовательно, 5—6 часов. Много ли таких приходов на Руси?.. Про заграницу я уже и не говорю...

Время подходило уже к часу дня, когда кончилась литургия. Народ ушел. Остались лишь десятки. Среди них и больной... И начались молебны... Отец Василий совершал один общий для всех молебен; только на запевах поминал всех тех святых, кому «заказывали» молебен просители; да еще вычитывал множество «Евангелий» по роду святых — Божией Матери, мученикам, святителям и пр., и пр. После этого он помазывал больных елеем...

Наши все уже ушли давно в дом, а я продолжал наблюдать. Но и мне стало трудно: я тоже ушел. Не дождался я и молитв батюшки об опасном больном. Такие мы легкомысленные: не ценили в России наших изрядных людей. А теперь таких и посмотреть негде за границей.

Наконец, после трех часов дня пришел батюшка. С радостным видом, но уравновешенно, спокойно он приветствовал всех нас; и как будто обычный семьянин, принялся и кушать (умеренно) и говорить с нами на житейские темы: о знакомых, о здоровье, о семейной жизни и т. п.

Его собственная семейная жизнь была не совсем заурядной. Я, конечно, ничего не могу сказать о неизвестных мне сокровенных сторонах ее и сужу лишь отчасти по некоторым внешним признакам. Например, во всем доме не видно зеркал. Батюшка считал грешным занятием засматриваться на свой лик. И лишь после долгой борьбы его дочерям удалось отвоевать право поставить маленькое зеркальце, вершков с пять на четыре, в

гостиной (она же и столовая). Да и то место для него нашлось на выступе «голландской» печи. Разумеется, соблюдались строгие посты, говенья. А теперь?

Но вот что особо отличало жизнь их семьи. Отец Василий категорически решил не учить в губернских школах девочек: ни в гимназиях, ни даже в женском епархиальном училище. Он был уверен во вредном влиянии этих школ на невинных детей. А тогда господствовала сильная мода на высшие женские курсы. И слово «курсистка» стало нарицательным именем нечистой и «политической» девицы: остриженные короткие волосы, развязные манеры, курение табака, непременный революционный либерализм, безверие и нередко нравственная невоздержанность. Вот так рисовался образ «курсистки». И почти всегда такие девицы уходили из-под влияния родителей, это тоже считалось знаком самостоятельности и свободы. Конечно, не все были такими, но молва шла плохая о них. И о. Василий боялся за своих девочек. И потому решил учить их сам, дома... И действительно выучил, все они были весьма умными и широко образованными девушками. К моему удивлению, они знали так много, сколько не знали рядовые гимназистки и «епархиалки». Откуда они научились? Не отец же наставлял их в знании и политических систем, и экономических социальных реформ, и русской литературы, и истории европейской цивилизации? Секрет нам открыли сами девушки. Выросши уже до возраста невест, они упросили отца выделить им в огромных сенях маленькую «светелочку», по четыре-пять шагов в длину и ширину. Здесь была и спальня их, и библиотека. И чего только там не было! И Толстой, и Достоевский, и «Заочный университет», издававшийся в Киеве. Вот откуда девушки набирались знаний. Все это делалось как-то секретно от отца, чтобы не огорчить его. Но зато они остались глубоко верующими душами, как и родители. В «светелке» у них было, конечно, и зеркало, значительно большего размера, чем в гостиной. Батюшка тут не наводил ревизии, деликатно щадя любимых дочек. Здесь мы, молодежь, и проводили время.

Однажды нам, «богословам», пришла легкомысленная затея: покататься с девушками в отдельных двух санках. У отца Василия были две хорошие лошади. Мы сначала обратились к матушке, справедливо надеясь соблазнить ее скорее, чем батюшку, ведь случай не частый —

ну-ка и замуж выйдут, а женихи неплохие... Я тогда тоже думал о женатом священстве... Действительно, матушка без особенной борьбы склонилась на нашу затею. Но по осторожности она добавила, что надо спросить батюшку. Мы это знали; но попросили ее быть нашей соумышленницей и помочь нам уговорить и его. Был уже вечер. Батюшка воротился откуда-то. Мы приступили к нему. И он, не сразу разобравшись, дал согласие. Я поспешил на кухню. Там на полатях собирался уже спать рабочий, Алексей. Я горячо торопил его скорее запрячь лошадей в двое саней. Он, не с особой охотой, но покорно стал слезать с полатей. Но в это время вошел на кухню и батюшка. Вероятно, он успел посоветоваться и с матушкой своей. Или та не успела в своей помощи нам, или и она оказалась благоразумной матерью, но только отец Василий спокойно сказал мне:

— Я с вами тоже поеду.

Но такое предложение расстраивало все наши юношеские планы, и я отказался:

— Тогда уж мы лучше совсем не поедем.

Это было и грубо, и грешно. Но отец Василий сохранил равновесие и совершенно спокойно ответил:

— Что же делать! Хорошо. А то ведь люди увидят на улице вас одних с девушками да и начнут потом говорить Бог знает что.

Все это было совершенно правильно и благоразумно. Алексей, довольный такою развязкою, полез обратно на полати, а мы с батюшкой ушли в комнаты и решили раньше лечь спать. Но этот случай ни во мне, ни в батюшке не изменил добрых отношений. На другой день я утром снова бежал к нему получить радостное благословение, а он нимало не обижался на нашу действительно дурную и злую выходку. Девушки же, понятно, и не возбуждали потом никаких вопросов. Да и во время обсуждения с ними нашей затеи они лишь молча соглашались с нами... Видимо, отец Василий понял всех нас, как опытный отец, и постарался покрыть все тихим миром.

Я рассказал такой далеко не поучительный случай потому, чтобы показать жизнь не в отвлеченной, надуманной благочестивой форме, а такою, какою она действительно бывает в эти наши годы. Все это человечно. Но другая семья могла бы использовать подобный случай, а здесь отец Василий развязал все по-христиански мирно и

благоразумно. Это тоже одна из светлых сторон домашней жизни святого сельского священника. Святость не в одной лишь молитве оказывается; а и в остальных сторонах целой жизни. Верный в малом верен и во многом — говорил Господь. И наоборот — можно сказать.

Припоминаю еще случай из пастырского быта о. Василия. В один из будничных дней к нему зашли почему-то две монашки. Может быть, они шли «по сбору» на монастырь; а может быть, это были мирские «чернички», жившие в своих селах девственно и носившие черные одежды и платки. Они обратились к батюшке с просьбою сказать им что-либо «во спасение души». И он начал говорить им о смирении. Доселе мне запомнилось сравнение: колос, наполненный хорошим зерном, гнется незаметно вниз головой, а пустой топорщится вверх: так и тщеславный человек.

3

Я скоро поступил в Академию. Потом принял иночество и был уже ректором семинарии, в сане архимандрита. Наступила первая война с немцами. В этом же году открылись мощи святого Епископа Тамбовского Питирима. Как питомец этой семинарии я счел долгом присутствовать на великом торжестве. Со всей епархии были вызваны лучшие священнослужители и благочинные. Среди них я встретил и отца Василия. За эти одиннадцать лет он значительно постарел. Острый нос его сделался еще тоньше. Выражение лица стало еще более серьезным. Мы приветствовали друг друга. Но побеседовать нам так и не удалось.

Через три года после этого началась революция. Что случилось с этой святой семьей за те одиннадцать лет и после — ничего не знаю. А так теперь хотелось бы узнать...

Да, мало мы ценили наших изрядных людей... А иные даже злословили:

— Ну, какие там святые?! Знаем мы...

А теперь хоть посмотреть бы...

Одного из таких его критиков я видел. Он был тоже сельским священником. Но потом, вероятно, как вдовец, поступил студентом в Академию. На святки приезжал домой. При встрече со мной он стал зло и высокомерно отзываться об о. Василии. Но этим он вызвал в моей душе

лишь отрицательное отношение к себе самому. После описанных личных встреч со святым батюшкой я окончательно убедился в душевной порче критики вообще. А чем же он сам тогда интересовался? Он стал пропагандировать меня и других революционными и политическими идеями, настойчиво рекомендовал прочитать какую-то книжку английского экономиста по вопросу о реформе подоходных налогов. И эту книгу он считал чуть ли не откровением миру и спасением от всех зол и бед. Я взял почитать ее, но она оказалась для меня скучной и неважной, и я скоро возвратил ее «ученому» богослову. Если он дожил бы до второй революции, т. е. прожил бы со времени нашей встречи 15—20 лет, то наверно, он оказался бы в рядах «живой» или «обновленческой» церкви... Избави, Боже, нас от такого духовенства... Нам нужны отцы Василии, отцы Алексии...

ИЗ ЗАПИСОК ЕПИСКОПА

Посвящается моим родителям

Один день их жизни. ... Они — достойны того, чтобы сын их благодарно вспомнил их. Потому ведь я и могу писать, что они с трудом дали 6 детям, в частности — мне, образование...

Лето... Мы живем уже в своем доме, в с. Чутановке, в 4 верстах от г. Кирсанова Тамбовской губернии... Каникулы для учащихся — вольное время. Самое раннее утро: едва стало светлеть небо. Звезды понемногу тухнут.

Мать — будто кто толкнул ее в бок — быстро вскакивает с постели (у нас была лишь одна кровать для нее и одного-двух маленьких детей, а остальные мы спали на полу, на легком шерстяном войлоке). Кое-как накидывает на себя юбку, кофту, платок; на ноги набрасывает отрезанные, дырявые «головки» с наших сапог и незаметно, чтобы не разбудить детей, исчезает из домика. Это она хочет подкормить корову где-нибудь на меже соседних полей, — конечно, не наших, — где росла трава, роса ее, вероятно, освежила за ночь.

Так проходит, может быть, полчаса. Небо уже светло.

Сейчас поднимутся куры, захрюкают свиньи (большею частью — одна), а корову нужно еще подкармливать на траве, чтобы потом отогнать ее в сельское стадо на день (приблизительно в полверсте от нас, если не больше).

Мать быстро возвращается в дом... Где уж оставляет корову, не знаю, вероятно, ведет домой... Тихо открывает дверь и подходит к отцу, он спит на полу.

— Отец, отец! — будит она его тихо. — Вставай, покараулъ корову!

Она всегда называла его «отцом». При посторонних людях говорила: «Афанасий Иванович», этим она хотела выразить почтительное отношение к нему пред чужими. Никогда она не называла его ласковым уменьшительным именем. Он обычно называл ее тоже: «мать», при людях: «Наталья Николаевна»; не помню, чтобы он позволил себе именовать ее ласково — «Наташа». Может быть, это бывало в первых годах совместной жизни? — не знаю... Дети звали: «папа» и «мама»; и всегда обращались к ним непременно на «вы», говорить им «ты» нам казалось совершенной развязностью, невоспитанностью... Ворочусь назад...

Отец, нимало не возражая, медленно поднимается с полу и, по обычаю, раза два-три перекрестится, помахивая рукой по груди... И закуривает. Он не любил ни папирос, ни «турецкого» табаку — считал их слишком слабыми; «махорка», «полукрупка» — вот это настоящий табак! Обычно он скручивал папироску еще с вечера, оставляя часть до утра; и теперь «закуривал» ее не спеша... Он ведь по происхождению был украинцем, или, как мы в то время говорили, — «хохлом»; причем это слово произносилось в нашем краю совершенно без малейшей насмешки и обиды, так же как мы о себе говорили: «русские» («кацапы» — не употребляли мы, даже в детстве и не слыхали этого слова)... Но об этом — после...

Затем отец, также бесшумно и без разговоров, уходил подкармливать и отгонять корову.

А мать заканчивала печку: топили больше соломой, дрова — потом уже — были роскошью.

Отворяла ворота в сарайчик, куры прыгали с нашестей, свиньи уже просили себе хлёбова. Мать им чего-то давала... Потом — курам... Если в этот день она пекла хлебы, то начинала возиться со вскисшим тестом...

Отец возвращался с сельского «выгона» (площади, где собирали коров) и начинал молча, по привычке, помогать матери, в чем нужно было.

А мы, дети, безмятежно спали, поэтому дела все велись тихо: «Не разбудить бы!»

Животные и куры успокаивались... Мать начинала готовить нам кушанье: либо «пышки», либо кашу; и непременно —чай, в скоромные дни — «с молоком», в «забелку»: сливки «снимались» на масло, которое потом продавалось в городе, в помощь на содержание наше, т. е. на детей; молоко же мы употребляли лишь «снятое» и тому были рады... Отец

доволен был какой-либо кашицей пшенной или «кулешом»: чая он не любил, как и папирос — «слаб!».

Потом он уходил в «контору»: он был «конторщиком». Что он там писал? Какие счета подводил? — мы не знаем... Для матери и для нас это было «тайной», причем мать смотрела на это с некоторым уважением: единственное, в чем она признавала превосходство отца; а сама она была малограмотна: читать умела, а писала очень плохо, да и то научилась этому от наших писем из школы. Писала крупным почерком, не считаясь с красотой. Отец же писал мелко и очень красиво, за это он, собственно, и попал в «конторщики».

... А мы всё спали...

Вдруг мы слышим: растворяется дверь и врывается мама... В это время, которое я описываю, мы имели уже собственный домик из трех комнат: средняя предназначалась быть «столовой», хотя мы обычно ели в кухне, направо от столовой, а налево — было две спальни: женская и мужская...

Итак: врывается мать, с песнью: «Ах вы, сони мои, сони! Сони милые мои!» Перевернутое из песни: «Ах вы, сени». Стаскивает с нас одеяла (было уже две кровати), пошлепывает по мягким местам и смеется нам. Брат Сергей — самый младший — в это время он был уже семинаристом, а я — студентом, недовольно возражает: «Мама! Оставь!» А я поднимаюсь. Матерь идет в соседнюю спальню к сестрам с тою же песней. Там протестов не полагается.

Все мы умываемся, немного молимся. И выходим из спален на балкон: он был на восток, ходом через столовую. А там уже шумит самовар; кругом чашки, сахар, молоко, пышки или что-либо иное.

Перекрестившись, мы садимся «чайпить»: так говорилось у нас везде, а не двумя словами «пить чай». Потом берем «книжки» для чтения и уходим в соседние поля: мы жили на загибе села, на краю.

А мать продолжала хлопотать: то мыла полы, то стирала белье, то сушила его, после полоскания в реке, то гладила, то опять кормила «живность», то пекла хлеба, а потом «готовые» ставила боком на полку, то уже готовила обед... Она обычно любила делать все это сама одна; не беспокоила даже наших сестер; но они всё же ей помогали.

Так приближался полдень...

Мне и доселе представляется, будто каждый день было тогда солнце и — светлый радостный день.

Иногда был и дождь с грозой, но это не нарушало, а дополняло красоту дня...

К обеду мы возвращались с поля...

Стол был уже готов. Ели мы вообще — из одной «чашки», ножей и вилок не полагалось, ложки были деревянные, за столом, помолившись, молчали.

После обеда убирали, вероятно, сестры. А мать, после 9—10-часовой беспрерывной работы, бросалась на чистый пол под какую-нибудь из мужских кроватей (чистота у нее была всегда отличная), брала туда подушку и почти сразу засыпала... Под кроватью — потому, что там не было мух за одеялом...

А мы опять брались за книжку для чтения...

Проспавши с час, она быстро вскакивала, и опять — за дела по хозяйству: то шла на реку, то что-нибудь шила: у ней была швейная машина; в крайнем случае, если не было иного дела, вязала привычными «спицами» чулки... И что-то думала... Мы легкомысленно не интересовались, чем были заняты ее мысли.

Подходит «полдник»: так назывался 4-й час... Опять — чай... Скоро — и вечер... Куры уже на на́шести... Приходит из стада корова. Мать доит ее... Немного снова подкармливает ее по меже... Восемь-девять часов... Мать снова проработала 6—7 часов после полдня, а всего 15—17 часов в день...И ложится уже спать — после ужина... А мы — опять на гулянье.

Отец иногда посидит с нами вечером... И смотрит на звездное небо: он всегда любил это! И нас учил: «Вот эта Большая Медведица, а вот если провести почти прямую линию от чашки кастрюли вверх, то мы «наткнемся» на Северную Звезду, вокруг которой все движется. А от нее, обратно с Большой Медведицей, постепенно появится Малая Медведица». Это я и сейчас помню... Еще говорил отец о «Петровом Кресте», о «Вечерней звезде», об «Утренней зарнице»; утром, ночью показывал нам яркую кучку «Стожаров» (иногда мы спали на соломе, постеленной на земле)... И мы любовались прекрасным небом и звездами... Иногда вспоминается и красивая луна, но это почему-то помню реже.

Характерно, что отец никак не соглашался с общепринятой системой вращения земли вокруг солнца в течение года, ему это казалось, очень долго бы было. И он придумал свое

объяснение: земля вертится под солнцем, как если бы какой-нибудь шарик привязали к потолку, и он внизу делал бы ежегодное движение. Я, как «ученый» сын, старался поддержать Коперника, — но безуспешно...

А мать давно уже спала... Завтра снова начинать рабочий день, часа в три утра... А отцу — свой труд...

Перед смертью мама предлагала ему еще послать за доктором, а он ответил ей: «Нет, мать, не хлопочи зря: я чувствую, мне не поправиться. Пожил, потрудился, пора и на покой мне».

Оба трудились всю жизнь... Хорошие были люди.

Чернички

Их было в наших краях, в разных селах, три-четыре человека. Так называли этих девственниц потому, что они всегда одевались, подобно монахиням, в черное, иногда их именовали «вековушами», так как они век вековали незамужними. Обыкновенно они по умершим читали Псалтирь, — где их звали. В остальные дни они скрытно жили в какой-либо маленькой хате, или «келии», на огородах; как проходила их жизнь, мы не знали: вероятно, читали какое-нибудь молитвенное правило, клали земные поклоны, занимались в «свободное» время какой-либо работой.

Никогда ничего худого про них не говорили.

В храме они были первыми, уходили — последними. Стояли обычно в сторонке, сзади всех... Своей «стаиной». На молитвах — кланялись низко, кладя кресты твердо, как полагается по-уставному. Никогда не говорили и вообще были молчаливыми.

Почему они не вышли замуж, не знаю. Но я хорошо помню, что две из них были даже красивыми: одна — с удивительно белым лицом, блондинка, — хотя волоса их были укрыты черным большим платком, низко надвинутым на глаза; другая, с тонкими чертами лица, брюнетка: а вот замуж не вышли... Видно, думается мне, не пожелали замужества по тем же религиозным побуждениям, которые иных направляют в монастыри. Только здесь было свободнее, чем при послушании в обители.

Про святость их тоже не говорили люди, хотя и относились к ним с почтением... Народ наш был разборчив в употреблении слова «святой», — вопреки сектантам.

А третья, известная мне, «слепая Даша», была удивительным человеком. Слепая от рождения — у ней в больших глазах белки были без зрачков — она как-то научилась по слуху Псалтири: все псалмы и междопсалмия она знала твердо наизусть. 150 псалмов — это не легко запомнить, да еще в порядке их! Довольно полная, с округлым лицом, с расширенными глазами — как это делаем мы, зрячие, когда прислушиваемся к чему-либо, с рябинками на лице, всегда довольная, даже ласково-улыбающаяся при разговоре... Немыслимо было даже подумать, чтобы она кого-либо осуждала! Она особенно твердо крестилась, вдавливая персты в лоб, живот и плечи.

Свой крест слепоты Даша несла совершенно безропотно. И слепота ей, вероятно, была во спасение. Да и посторонние, глядя на нее, легче переносили скорби. А я, вспоминая сейчас о ней, поучаюсь.

Примечательно, что эти чернички никого не учили, не давали советов. И — Боже сохрани — не обличали, не судили: учить — это дело батюшки! К священству всегда относились со смирением, с почтением. А батюшка смотрел на них спокойно, точно не замечал их, будто хранить лишь девство — такое простое и легкое дело! А ведь это явление — замечательное! И стоило бы заинтересоваться им! Но кругом были подобные им — религиозные, смиренные, целомудренные — только — в браке: а это — тоже подвиг. Дух же был один: христианский, православный, потому, вероятно, и не дивились черничкам.

Кстати: брат у «чернички»-блондинки, Семен Иванович, — бывший садоводом у помещиков Ч., живший версты за полторы от своего дома, — тоже был одиноким, холостым. У него была широкая, чистая, бело-желтая борода. Он обладал мягким тенором и всегда пел в хоре. Видно, в этой семье была почему-то общая наклонность к девству и церкви. Спокойный. Относились к нему с уважением.

Что с ним случилось после — не знаю...

«Жили-были».

Три кладбища

В нашем селе Софьинке было три кладбища: одно — барское, внутри, в церковной ограде; другое —

для «дворовых» господских, за оградой; и третье, за версту от храма, — крестьянское. На нем осталась мельница без крыльев, низ был каменный или кирпичный, — потому и уцелел; а верх сорвал когда-то ветер. Вот о них я и написал свои думы в стихах.

Церковь была на взгорье; а мельница — еще выше: издалека ее видно было... Около церкви барский дом: они и храм выстроили. Внизу, по реке, деревни...

Стеною низкой огражденный,
На взгорье белый храм стоит.
За ним, кленами осененный,
Господ старинный род лежит.

Кресты — из мрамора белеют...
Лампадки тихо здесь горят...
На плитах надписи темнеют...
Цветы кругом могил пестрят.

А вот, канавой окаймленный, —
Чтоб скот сюда не забродил, —
Ряд слуг, всей жизнью усмиренный,
И здесь, вблизи господ, почил.

Могилы — без имен... Лампадок
Уж нет. Из дерева — кресты.
Но кто-то тут блюдет порядок...
Кругом — акации кусты.

А вот далёко, на кургане,
Без крыльев мельница торчит.
За ней на кладбище крестьяне
Нашли покой. Все тихо спит.

Вокруг — поля. В траве — могилы...
Кой-где кресты. А то — и кол.
Канавы нет... теленок хилый...
Одна ветла... Весь вид здесь гол...

Вернусь назад... Уютно, мило
В тени, за алтарем... Но вот:
«Что — там?» Простит Господь, что было!
Да даст блаженный им живот.

Когда ж к слугам зайдешь случайно,
Спокойно... Мало их... Как мог,
Безвестный род нес крест свой тайно...
Но знает их Всеведец Бог...

О третьем кладбище, читатель,
Я расскажу, что видел сам...
Была засуха: «Знать, Создатель
Кару послал во гневе нам...

А что бы, — просят, — нам всем миром
С молебном завтра по полям?
Грехи простит Господь нам, сирым!
Скотина стонет... Мор и нам!»

«Благая мысль! Вот и прекрасно!» —
«И ты уж походи, попой!» —
Меня зовут. «Ну что ж? Согласен!»
Ах, Русь моя! Народ простой!

Наутро крестный ход сбирают:
Берут хоругви мужики,
Смиренно бабы покладают
Под образами ручники.

И радостный трезвон раздался...
Запели мы... Кладут кресты...
И дух мой верой отозвался:
«Не можешь не услышать Ты!»

На кладбище остановились,
Пропели кратко парастас,
За всех усопших помолились:
Мы здесь — за них, они — за нас.

Дьячок в подряснике, с косой —
Он крепостное время знал, —
Подперши голову рукой,
Задумчиво мне так сказал:

«Гляжу на это поколенье:
Чай, сколько здесь святых лежит». —
«Каких святых?» — в недоуменье
Прошу его мне разъяснить.

«Да как же?! В прежнюю неволю
Легко ли им пришлось страдать?
Тяжелую терпели долю:
Один лишь Бог мог силу дать!»

Молчим... К родным душой умильной
Свернули бабы со слезой...
А мы уж пели в поле пыльном:
«Даждь дождь, Христе, земле сухой!»

Те — там, мы — здесь весь день молились...
Святая Русь! С тобой Бог жил...
А к вечеру уж тучи вились...
И ночью жданный дождь полил...

Так было прежде, Русь родная:
Ты верила... А что теперь?..
Умом давно тебя не знаю,
А сердце говорит мне: «Верь!»

М. В.

Стихи написаны в Нью-Йорке около 1937 года.

«Золотко»

Кстати припомню об одной женщине... О ней бы следовало написать целое житие... Не ценим мы людей, как должно бы.

Могу припомнить кое-что о ней.

Молодою девушкой она захотела уйти в монастырь. Мать знала об этом намерении дочери и стала сама подготавливать ее к будущей жизни. Как? — прежде я знал. Теперь совершенно забыл.

Редкая мать! Нередко они идут наперекор.

Впрочем, в православном мире простые люди охотно идут навстречу подобным желаниям.

Приняли девушку... И чуть ли не с самого начала назначили ей «послушание» — шитьевое...

А главное — в том, что она всю жизнь была ласкова: «Золотко» — это любимое ее выражение! И все-то у нее — «золотко»...

Она и сейчас еще живет: лет 75 ей... И работает.

К этому можно прибавить другое послушание ее: она кормит курочек и голубей, что так идет к ее ласковости. Если кто-нибудь подарит ей деньги за работу, она тотчас накупит на это гороху, зерна, — или еще чего-нибудь — для курочек и голубей... Заболела как-то одна курица, и она всю зиму держала ее в своей келии.

Спит она — сидя, потому что у нее грудная жаба. Но никогда не жалуется на это, даже никому не говорит.

Никогда ни с кем не спорит. А чтобы — ссориться — об этом даже подумать о ней нельзя! За долгую монашескую жизнь она несомненно приобрела большой опыт, но никогда никого не учит: считает себя для этого недостойной...

Узнал теперь, что мать готовила ее к монашеству так: в семье ели и мясо, а ей готовили постное, построили ей сзади двора маленькую келию, где она и жила, ес-

ли же приходили гости к ним в дом, то мать непременно отсылала ее в келию. А потом сама отвезла в монастырь.

О другом — о молитве, чистоте и смирении — и говорить не стоит: это само собою разумеется...

Святая!

Молитвами ее помилуй нас, Господи!

Зовут ее: Евгения!

Три Нины

Первая была дочь высокого чиновника. Лет с 16 она хотела поступить в монастырь, но родители решительно воспротивились этому. У нее была тетка, бывшая замужем за лесничим. Иногда Нина приезжала туда, но скоро исчезала в лесу. Стали искать ее и находили молящейся... Надеясь отучить ее от этого намерения, родители отправили ее учиться на доктора за границу (кажется, в Париж). Она вышла оттуда медичкой, но внутри осталась «монашкой», замуж выходить никак не хотела. Отец помер. На ее попечении осталась старушка мать и взяла с нее обет — не поступать в монастырь. На ее же заботе осталась и тетка, муж которой (лесничий) тоже скончался.

Из нее вышел прекрасный доктор: знающий свое дело, всегда готовый для больных, полный бессребреник. Ею все дорожили.

Я видел ее уже старушкой, лет более 50, с сединой. Мать и тетка продолжали, слава Богу, жить; я их тоже видел. И странно мне было наблюдать, как мать ее обращалась с ней, как с девочкой, хотя ей тогда было уже на шестой десяток. Тетка лежала в постели безнадежно больной, племянница ухаживала за ней. Матери шел к концу восьмой десяток: крепкая была, высокая ростом. Нина по-прежнему была безответной послушницей.

Умирала глубокая, но одинокая, безродная старушка. Была ночь. Все, кто был здесь, заснули. И Нина одна приняла душу ее, ухаживая за ней до последней минуты.

Померла и тетка... Потом скончалась и мать...

И она исполнила свое желание: тотчас ушла в монастырь, где ее давным-давно знали и любили. Но она была уже сама старушкой...

Вот и все.

Но кто может рассказать самое главное: про ее внут-

реннюю жизнь, про тайные молитвы, про ее чистоту и смирение, про веру? Она всегда скрывала это. Припоминается лишь рассказ мне о том, что не раз видели ее ядущей черный хлеб, — и тот с плесенью... А о тайном посте говорило очень худое ее тело... Теперь она жива еще... И по-прежнему лечит и ухаживает за сестрами монастыря, как врач.

Конечно, исполняет и другие послушания, когда свободна, соединяя в себе Марфу и Марию.

Это — одна Нина.

Вторая — тоже доктор и жена доктора. О ней я мало расскажу. Одно знаю, что она в больнице со всеми обходится ласково, такою и я знаю ее. Знаю, что и муж ее относится к ней с великой любовью, за ее смирение и любовь, хотя он сам — крутой характером. У них одна дочь, и не совсем здорова. Росту маленького. Я видел ее — пожилою, лет 50. Они все еще живы.

Я подарил ей медный, позолоченный складень «Деисус» (правильно: «Деисис», греч. «молитва» Христу Богоматери и Предтечи). Она дала мне такой же Крест в пол-аршина. Он у меня и сейчас.

Третья Нина — послушница монастыря. Жизнь ее была сложная. Была не крещена, лет до 20. Работала на фабрике. Жила в общежитии с другими работницами. Жизнь там была далекая от благочестия... Такою, кажется, была и она... Но постепенно в ней явилась вера. Подружки стали издеваться над ней. И подкладывали в ее постель дрова. Смеялись... Она все вытерпела...

Крестилась. Ушла из общежития. Потом поступила в монастырь. Там жизнь показалась ей недостаточно строгою и мало рабочею... И она ушла в иную обитель.

Конечно, у нее самой был крутой и неуживчивый характер. Не ужилась и в другом монастыре, хотя здесь было больше физического труда и бедности. Ее сестры невзлюбили — за ее тяжелый нрав.

И она зимой решила уйти из обители... И пошла... На дороге ей встретился священник монастыря.

— Ты — куда?

— Ушла из монастыря! — резко ответила она.

— Ну, смотри, в другой раз не примут!

Они разошлись в разные стороны: он шел в монастырь.

А она, пройдя еще несколько шагов, стала, что-то думая... Была, кажется, метель... Простояла она 5—10 минут. Повернула обратно...

Но потом — опять проявила она самоволие. Монастырский совет (старшие монахини) хотели удалить ее из обители. Однако ее оставили и еще... Здоровье ее было уже надорвано. Что будет дальше с нею, не знаю. Только помню слова Св. Лествичника:

«Иной приходит в монастырь по любви к Богу, другой — ища спасения от грехов, третий думает найти там покой. Но не знаешь, кто из них окажется впереди и угоднее Богу!» И борьба ценна.

И еще им же сказано другое слово:

«Иной живет в монастыре легко: такой уж у него характер. А другому все дается трудно — от характера его. Но я (говорит он) предпочту второго».

А другие отцы говорят так: «В чем застану, в том тебя и судить буду». И пословица сложилась недаром: «Конец красит дело!» Спаси ее, Господи!

Доказал

Я был уже ректором семинарии. Однажды иду из Собора домой. Направо — Волга. Поперек в нее впадает маленькая речушка «Тьмака»: вода — грязно-желтая; где-то выше фабрики, заводы. Деревянный мостик. Догоняю старушку.

— Здравствуй, бабушка!

— Здравствуй, батюшка!

— Сколько тебе лет?

— Да уж 74.

— Хорошо-о.

— Да я уж и Бога просила — умереть, а Он смерти не дает.

Помолчали. Идем.

— А я хотела тебя вот о чем спросить. Онамеднись (т. е. на днях. — *М. В.*) я видала сон.

И она рассказала его мне.

— Бабушка! Отцы святые не велят верить снам.

Стал ей говорить, почему не велят. И привел ей случай и совет угодника Божия, известного старца Амвросия Оптинского.

— А вот еще есть святой (о нем написано в Добротолюбии. — *М. В.*) Диадох: он даже говорит о «Добродетели неверования снам».

Кончил. Думал, что убедил, доказал старушке.

— Гм-м, — протянула она спокойно, — а я — другой сон видела!

Какой уж, не помню, оба забыл.

У меня мелькнула мысль: если бы Чехов услышал этот разговор, он, может быть, написал бы — подобно рассказу о диаконе и записи живых и умерших — тоже рассказец; и может быть, назвал бы его: «Доказал».

Как дети! Недаром таких любил Христос...

Христа видел

Теперь припомнил рассказ о. А. Кир-го об игумене Афонского Пантелеймонова монастыря Нифонте. Это было в Париже: отец Алексий приехал к нам в Богословский институт духовником студентов. И он рассказал следующее.

В одной семье была строгая-престрогая мать.

У нее было два мальчика, может быть, лет по 8—10. У матери на косяке всегда висел кнут, для наказания ребят. Как-то дети расшалились и старший разбил лампу — или только стекло... Спрятать беду было уж некуда. Тут вошла в избу мать; и, конечно, сразу увидела следы шалости.

— Кто разбил лампу? — спрашивает она сурово.

Младший вдруг говорит:

— Я!

Мать сняла кнут и жестоко отхлестала его.

А старший брат с ужасом и удивлением смотрит, как мать бьет неповинного брата.

Мальчик (не помню имени его: может быть, Николай?) полез на печь — утешительницу всех несчастных. И вдруг потолок над ним исчез. Воссиял свет. И явился Христос.

...Далее не припоминаю: что Он сказал ребенку в похвалу за самоотверженное страдание за брата. Но только мальчик тогда же дал обет: уйти на Афон в монастырь. И когда вырос, так и сделал. Потом был там игуменом и сам рассказывал о видении.

А я теперь записываю — для тех, кто спрашивает: «А кто Бога видел?»

СОДЕРЖАНИЕ

Литературно-художественное издание

Вениамин, митрополит (Федченков)

БОЖИИ ЛЮДИ

Редакторы **М. И. Вострышев, И. А. Сухнева**
Художник **В. А. Воробьев**
Художественный редактор **О. Г. Червенцова**
Технический редактор **Л. Б. Демьянова**
Корректоры **Т. М. Воротникова, Г. П. Панова**

ИБ № 6257

Сдано в набор 15.01.91. Подписано к печати 29.07.91. Формат $84\times108^{1}/_{32}$. Гарнитура Тип. Таймс. Печать высокая. Бумага газетная. Усл. печ. л. 5,88. Усл. кр.-отт. 6,62. Уч.-изд. л. 6,12. Тираж 200 000 экз. Заказ 42. Цена 50 коп.

Издательство «Современник» Министерства печати и массовой информации РСФСР и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Министерства печати и массовой информации РСФСР
445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30



50 коп.